

Айн Рэнд

# ИСТОЧНИК



На протяжении нескольких десятилетий этот роман остается в списке бестселлеров мира и для миллионов читателей стал классикой. Главный герой романа, Говард Рорк, ведет борьбу с обществом за свое личное право на творчество. Фанатичная косность окружающих вынуждает его предпринимать экстраординарные действия. И совсем необычна связь Рорка с влюбленной в него женщиной, которая впоследствии становится женой его злейшего врага. Через перипетии судеб героев и увлекательный сюжет автор проводит главную идею книги — ЭГО является источником прогресса человечества. Идея непривычная для России; тем интереснее будет широкому кругу читателей познакомиться с героями, которые утверждают ее своей жизнью.

Части 3 - 4.

---





Гейл Винанд поднял пистолет к виску.

Он почувствовал, как металлический кружок прижался к коже, — и ничего больше. С тем же успехом он мог притронуться к голове свинцовой трубой или золотым кольцом — просто небольшой кружок.

— Сейчас я умру, — громко произнес он — и зевнул.

Он не чувствовал ни облегчения, ни отчаяния, ни страха. Последние секунды жизни не одарили его даже осознанием этого акта. Это были просто секунды времени; несколько минут назад з руках у него была зубная щетка, а теперь он с тем же привычным безразличием держит пистолет.

«Так нельзя умирать, — подумал он. — Нужно же чувствовать или большую радость, или всеобъемлющий страх. Надо же чем-то обозначить собственный конец. Пусть я почувствую приступ страха и сразу нажму на спусковой крючок». Он не почувствовал ничего.

Он пожал плечами, опустил пистолет и постоял, постукивая им по ладони левой руки. «Всегда говорят о черной смерти или о красной, — подумал он, — твоя же, Гейл Винанд, будет серой. Почему никто никогда не говорил, что *это* и есть беспредельный страх? Ни воплей, ни молений, ни конвульсий. Ни безразличия честной пустоты, очищенной огнем некоего великого несчастья. Просто скромненько-грязненький, мелкий ужас, неспособный даже напугать. Не можешь же ты опуститься до такого, — сказал он себе, — это было бы проявлением дурного вкуса».

Он подошел к стене своей спальни. Его пентхаус был надстроен над пятьдесят седьмым этажом роскошного отеля, которым он владел в центре Манхэттена; внизу он мог видеть весь город. Спальной служила прозрачная клетка на крыше, стенами и потолком которой были огромные стеклянные панели. Вдоль стен протянулись гардины из пепельно-голубой замши, они могли закрыть комнату, если он пожелает; потолок всегда оставался открыт. Лежа в постели, он мог наблюдать звезды над головой, видеть блеск молний, следить, как капли дождя разбиваются в гневных, сверкающих всплесках света о невидимую преграду. Он любил гасить свет и полностью раскрывать гардины, когда был в постели с женщиной. «Мы совершаем соитие на виду у шести миллионов», — пояснял он ей.

Сегодня он был один. Гардины были раскрыты. Он смотрел на город. Было поздно, и великое буйство света внизу начало меркнуть. Он подумал, что готов смотреть на город еще много, много лет, но и не имеет ничего против того, чтобы никогда его больше не видеть.

Он прислонился к стене и сквозь тонкий темный шелк своей пижамы почувствовал ее холод. На нагрудном кармане пижамы была вышита белая монограмма «Г.В.», воспроизводившая его подпись, — именно так он подписывался своими инициалами одним властным движением руки.

Утверждали, что самым обманчивым в Гейле Винанде была внешность. Он выглядел как порочный и чрезмерно утонченный последний представитель старинного, погрязшего в многовековой роскоши рода, хотя все знали, что он поднялся из грязи. Он был чрезмерно строен — настолько, что не мог считаться физически красивым, казалось, вся его плоть уже выродилась. У него не было необходимости держаться прямо, чтобы произвести впечатление жесткости. Подобно изделиям из дорогой стали, он склонялся, сгибался и заставлял окружающих чувствовать не свою позу, а туго сжатую пружину, готовую выпрямить его в любой миг. Ему не требовалось ничего сильнее этого намека, он редко стоял выпрямившись, движения и позы его были ленивы и расслаблены. И какие бы костюмы он ни носил, они придавали ему

вид совершеннейшей элегантности.

Его лицо не вписывалось в современную цивилизацию, скорее в античный Рим — лицо бессмертного патриция. Его волосы с легкой сединой были гладко зачесаны назад, обнажая высокий лоб, рот был большим и тонким, глаза под выгнутыми дугами бровей были бледно-голубыми и при фотосъемке выглядели двумя сардоническими белыми овалами. Один художник попросил его позировать для Мефистофеля; Винанд рассмеялся и отказался, а художник с горечью наблюдал за ним, потому что смех превратил его лицо в идеальную модель.

Он небрежно привалился к стеклянной панели своей спальни, ощутив тяжесть пистолета в ладони. «Сегодня, — подумал он, — что же такое было сегодня? Разве произошло что-нибудь, что бы помогло мне сейчас, придало значение этому моменту?»

Сегодняшний день прошел так же, как множество других в его жизни, поэтому было трудно заметить, чем же он отличался от них. Ему исполнился пятьдесят один год, и на дворе была середина октября 1932 года, в этом он был твердо уверен; остальное же требовало усилий памяти.

Он проснулся и оделся в шесть утра; он никогда не спал больше четырех часов. Он спустился в столовую, где был приготовлен завтрак. Его квартира, небольшое строение, стояла на краю обширной крыши, на которой был разбит сад. Его комнаты были вершиной художественного совершенства; их простота и красота вызвали бы вздохи восхищения, если бы дом принадлежал кому-то другому, но гости бывали поражены до немоты, увидев дом издателя нью-йоркского «Знамени», самой популярной газеты в стране.

После завтрака он зашел в свой кабинет. Его стол был завален наиболее известными газетами, книгами и журналами, полученными этим утром со всех концов страны. Он работал в уединении за этим столом часа три, читая и делая краткие заметки большим синим карандашом поперек печатных страниц. Заметки напоминали стенографию шпиона, никто не смог бы их расшифровать за исключением сухой, средних лет секретарши, которая заходила в кабинет, когда он его покидал. За пять лет он ни разу не слышал ее голоса, да они и не нуждались в личном общении. Когда он вечером возвращался в кабинет, секретарша и куча бумаг уже исчезали; на столе он находил отпечатанные страницы, содержавшие все, что он хотел сохранить от утренней работы.

В десять часов он подъехал к зданию редакции «Знамени» — простому, мрачному зданию в не очень престижном квартале Нижнего Манхэттена. Когда он проходил по узким коридорам здания, служащие, попадавшиеся ему навстречу, приветствовали его, желая доброго утра. Приветствия были официальными, и он вежливо отвечал, но его продвижение было подобно лучу смерти, останавливающему деятельность живых организмов.

Среди многих жестких порядков, введенных для служащих, самым тяжким было требование, чтобы при появлении мистера Винанда никто не прекращал работы, не замечал его присутствия. Никто не мог предсказать, какой отдел будет выбран для посещения и когда. Он мог появиться в любой момент в любой части здания, и его присутствие действовало как удар электрического тока. Служащие пытались выполнять предписание как можно лучше, но предпочли бы трехчасовую переработку десяти минутам работы под его молчаливым наблюдением.

Утром в своем кабинете он пробежал гранки редакционных статей воскресного выпуска «Знамени». Он вычеркивал синим карандашом те строки, которые считал ненужными. Он не подписывался своими инициалами: все знали, что только Гейл Винанд может вычеркивать текст такими размашистыми синими линиями, которые, казалось, обрекают на смерть авторов этого номера.

Он закончил с гранками и попросил соединить его с редактором «Геральда» в Спрингвиле,

штат Канзас. Когда он звонил в свои провинциальные издания, его имя никогда не сообщалось жертве. Он считал, что его голос должен быть известен всем наиболее значительным гражданам его империи.

— Доброе утро, Каммингс, — произнес он, когда редактор ответил.

— Господи, — задохнулся редактор, — неужели...

— Он самый, — ответил Винанд. — Послушай, Каммингс. Если в моей газете еще раз появится такой бред, как вчерашняя история о «Последней розе лета», вы отправитесь обратно в «Гудок» своего колледжа.

— Да, мистер Винанд.

Винанд повесил трубку. Он попросил соединить его с известным сенатором в Вашингтоне.

— Доброе утро, сенатор, — приветствовал он его, когда этот джентльмен через две минуты взял трубку. — Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились поговорить со мной. Я весьма благодарен. Не хочу злоупотреблять вашим временем, но полагаю, что обязан высказать свою самую искреннюю благодарность. Я звоню, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия, за поддержку билля Хейса— Лангстона.

— Но... мистер Винанд! — В голосе сенатора прозвучали тоскливые нотки. — Очень мило с вашей стороны, но... билль Хейса— Лангстона еще не прошел.

— О, вот как. Видимо, я ошибся. Он пройдет завтра. Совещание совета директоров предприятий Винанда было

назначено в это утро на одиннадцать тридцать. Концерн Винанда насчитывал двадцать две газеты, семь журналов, три службы новостей, два киножурнала. Винанд владел семьюдесятью процентами акций. Директора не были уверены в понимании своих функций и задач. Винанд распорядился, чтобы совещания всегда начинались вовремя, независимо от того, присутствовал он на них или нет. Сегодня он вошел в комнату совета в двенадцать двадцать пять. Выступал какой-то пожилой, внушительного вида джентльмен. Директорам не было позволено останавливаться или обращать внимание на присутствие Винанда. Он прошел на свободное место во главе длинного стола красного дерева и уселся. Никто не повернулся к нему, как будто на стул опустился призрак, существование которого никто не осмеливался замечать. Он молча слушал минут пятнадцать, затем в середине высказывания встал и покинул зал таким же образом, как и вошел.

На большом столе своего кабинета он разложил план Стоун-риджа, своего нового строительного проекта, и провел полчаса, обсуждая его с двумя своими агентами. Он купил обширный участок земли на Лонг-Айленде, который должен был превратиться в микрорайон Стоунридж, прибежище мелких домовладельцев, каждый тротуар, улица и дом которого будет построен 1ейлом Винандом. Немногие, знавшие о его операциях с недвижимостью, говорили, что он сошел с ума. Это происходило как раз в том году, когда никто и не думал о строительстве. Но Гейл Винанд склотил состояние на решениях, которые называли сумасбродными.

Архитектор, которому предстояло создать Стоунридж, еще не был выбран. Новости о проекте, тем не менее, просочились к изголодавшимся профессионалам. В течение нескольких недель Винанд не читал писем и не отвечал на звонки лучших архитекторов страны и их друзей. Он также отказался разговаривать, когда секретарь сообщил, что мистер Ралстон Холкомб настойчиво просит уделить ему две минуты по телефону.

Когда агенты ушли, Винанд нажал кнопку на своем столе, вызывая Альву Скаррета. Скаррет появился в кабинете, радостно улыбаясь. Он всегда отвечал на этот звонок с лстившей Винанду веселостью мальчика-рассыльного.

— Альва, черт возьми, что такое «Доблестный камень в мочевом пузыре»?

Скаррет рассмеялся:

— А, это? Это название нового романа. Его написала Лойс Кук.

— Что же это за роман?

— О, просто блевотина. Предполагается, что это своего рода поэма в прозе. Об одном из таких камней, который считает себя независимой сущностью, своего рода воинствующем индивидуалисте мочевого пузыря, ну, ты понимаешь. Ну а потом человек принимает большую дозу касторки — там есть подробное описание последствий этого, не знаю уж, насколько оно верно с точки зрения медицины, — и тут-то доблестному камню в мочевом пузыре и приходит конец. Все это должно доказать, что такой штуки, как свободная воля, не существует.

— Сколько экземпляров продано?

— Не знаю. Полагаю, очень немного. Только среди интеллектуалов. Но я слышал, что потом было продано еще несколько и...

— Вот как? Что происходит, Альва?

— Что? А, ты имеешь в виду некоторые упоминания, которые...

— Я имею в виду, что обратил внимание на то, что этот доблестный камень не сходит со страниц «Знамени» в последние недели. Делается все очень тонко, достаточно сказать, что мне пришлось изрядно повозиться, пока я не обнаружил, что все это не случайность.

— Что ты имеешь в виду?

— Почему ты думаешь, что надо что-то иметь в виду? Почему, в частности, это название появляется постоянно в самых неподходящих местах? Один раз в рассказе о полиции, о том, как разделались с неким убийцей, который «храбро пал, как доблестный камень в мочевом пузыре». Дня два спустя на шестнадцатой странице о какой-то идиотской истории в Олбани <sup>[1]</sup>: «Сенатор Хазлтон полагает себя независимой сущностью, но может обернуться так, что он окажется просто доблестным камнем в мочевом пузыре». Затем в объявлениях о смерти. Вчера это было на женской странице. Сегодня в комиксах.

Снукси называет своего богатого домовладельца доблестным камнем в мочевом пузыре.

Скаррет миролюбиво хихикнул:

— Да, разве это не забавно?

— И я подумал, что забавно. Сначала. Теперь нет.

— Но какого черта, Гейл! Разве это главная тема и наши лучшие умы стараются кого-то пропагандировать? Это просто мелкий борзописец, который получает сорок долларов в неделю.

— В этом-то вся и штука. Кроме того, упомянутая книга совсем не бестселлер. Если бы это было так, я мог бы понять, ведь тогда название книги автоматически запало бы в голову. Но это не так. Значит, кто-то сознательно вдабливает это в головы. Кто и зачем?

— Ну, Гейл, зачем так? Почему кто-то должен об этом беспокоиться? И зачем беспокоиться нам? Если бы речь шла о политике... Но, черт возьми, кто сможет получить хоть пару центов за то, что поддерживает идею свободной воли или идею отсутствия свободной воли?

— А тебя кто-нибудь консультировал по поводу такой поддержки?

— Нет. Я уверен, такого человека и не существует. Все совершенно случайно. Просто многие думают, что это забавно.

— А кто был первым, от кого ты это узнал?

— Не помню... Подожди-ка... Это был... да, мне кажется, что это был Элсворт Тухи.

— Передай, чтобы все это прекратили. В первую очередь скажи Тухи.

— Да, если ты настаиваешь. Но это все, в сущности, чепуха. Просто люди немного поразвлеклись.

— Мне не нравится, когда кто-то развлекается в моей газете.

— Да, Гейл.

В два часа, уже в качестве почетного гостя, Винанд приехал на завтрак, устроенный



Национальным конгрессом женских клубов. Он уселся справа от председательницы в гулком банкетном зале, пропитанном запахами цветов на корсажах — гардений и душистого горошка — и жареных цыплят. После завтрака Винанд выступил с речью. Конгресс требовал возможности работы для замужних женщин; газеты Винанда уже много лет боролись против привлечения к работе замужних женщин. Винанд проговорил минут двадцать и умудрился совершенно ничего не сказать, но создать полное впечатление, что он поддерживает все, что говорилось на встрече. Никто не мог объяснить влияния Гейла Винанда на аудиторию, в особенности женскую; он не делал ничего необычного, голос его звучал глухо, монотонно и с призвуком металла; он был очень корректен, но так, что это выглядело почти сознательной пародией на корректность. И все же он чем-то завораживал слушателей. Говорили, что на них действует его физически ощутимая мощная мужская сила; это она, когда он говорил о школе, доме и семье, заставляла воспринимать его так, будто он занимается любовью с каждой присутствующей старой ведьмой.

Возвратившись в редакцию, он зашел в отдел местных новостей. Стоя за высоким столом и вооружившись синим карандашом, он написал на огромном листе типографской бумаги, буквами величиной в дюйм каждая, блестящую и сокрушительную передовицу, обличавшую сторонников предоставления работы женщинам. Его инициалы «Г.В.» в конце статьи выглядели как вспышка голубой молнии. Он не перечитывал написанное — в этом никогда не было необходимости, лишь швырнул на стол первого попавшегося редактора и вышел.

Позже, днем, когда Винанд уже собирался покинуть редакцию, секретарь сообщил ему, что Элсворт Тухи просит соизволения увидеться с ним. «Просите», — бросил он секретарю.

Вошел Тухи. На лице его была осторожная полуулыбка, выражавшая насмешку над самим собой и своим боссом, однако это была весьма взвешенная и деликатная улыбка, шестьдесят процентов насмешки было обращено против самого себя. Он знал, что Винанд отнюдь не жаждет его видеть, и то, что его принимают, говорит не в его пользу.

Винанд сидел за своим столом, на лице — вежливое безразличие. Две диагональные морщины слабо проступали у него на лбу, образуя параллель его приподнятым бровям. Это сбивавшее с толку собеседников выражение, которое иногда появлялось у него на лице, создавало вдвойне угрожающий эффект.

— Садитесь, мистер Тухи. Чем могу служить?

— О, что вы, мистер Винанд, я на это и не рассчитываю, — весело произнес Тухи. — Я пришел не просить об услуге, лишь хотел предложить свою.

— Какую же?

— Я о Стоунридже.

Диагональные морщины на лбу Винанда проступили еще сильнее.

— Чем же здесь может быть полезен ведущий газетную рубрику?

— Ведущий рубрику — ничем, мистер Винанд. Но эксперт по архитектуре... — Голос Тухи прозвучал насмешливо и вопросительно.

Если бы глаза Тухи не были нагло востроены на Винанда, он был бы тотчас же выброшен из кабинета. Но взгляд его четко говорил, что Тухи известно, до какой степени Винанду досаждают люди, рекомендующие архитекторов, и с каким трудом тот пытается от них освободиться, а также, что Тухи переиграл его, добившись встречи по вопросу, которого тот не ожидал. Наглость его позабавила Винанда, на что Тухи также рассчитывал.

— Хорошо, мистер Тухи, кого вы мне хотите всучить?

— Питера Китинга.

— Ну и?..

— Извините?

— Давайте расхвалите его мне.

Тухи весело пожал плечами и перешел к делу:

— Вы понимаете, конечно, что я ничем не связан с мистером Китингом. Я здесь только как его друг — и ваш. — Его голос был приятно неофициален, хотя и несколько растерял свою уверенность.

— Честно говоря, я понимаю, что это выглядит банальным, но что еще я могу сказать. Так уж случилось, что это правда. — Винанд оставался непроницаем. — Предполагается, что я пришел сюда, потому что считал своим долгом сообщить вам свое мнение. Нет, не моральным долгом. Назовем его эстетическим. Я знаю, что вы стремитесь получить все самое лучшее. Для столь грандиозного проекта среди работающих ныне архитекторов нет более подходящего, чем Питер Китинг, с его деловитостью, вкусом, оригинальностью, фантазией. Таково, мистер Винанд, мое искреннее мнение.

— Вполне вам верю.

— Верите?

— Конечно. Но, мистер Тухи, почему я должен обращать внимание на ваше мнение?

— Ну, вообще-то, я являюсь вашим экспертом по архитектуре! — Он не смог скрыть нотку раздражения в голосе.

— Дорогой мистер Тухи, не стоит путать меня с моими читателями.

После минутной паузы Тухи откинулся на стуле и развел руками в глумливой беспомощности.

— Честно говоря, мистер Винанд, я не рассчитывал, что мои слова будут для вас весомы. Я и не пытался всучить вам Питера Китинга.

— Нет? А что же вы пытались сделать?

— Только попросить вас уделить полчаса человеку, который сможет убедить вас в возможностях Питера Китинга намного лучше, чем это могу сделать я.

— Кто же это?

— Миссис Питер Китинг.

— А почему я должен хотеть говорить об этом с миссис Питер Китинг?

— Потому что она чрезвычайно красивая женщина и в высшей степени упрямая.

Винанд откинул назад голову и громко рассмеялся:

— Господи Боже, Тухи, разве на мне это написано? — Тухи замигал, сбитый с толку. — Право, мистер Тухи, я должен принести вам извинения, если, позволив своим вкусам быть столь явными, стал причиной вашего неприличного предложения. Но у меня и в мыслях не было, что помимо прочих многочисленных филантропических дел вы еще и сводник. — Тухи поднялся со стула. — Извините, что разочаровал вас, мистер Тухи. У меня нет ни малейшего желания встречаться с миссис Питер Китинг.

— Я и не думал, что оно у вас появится, мистер Винанд. Во всяком случае, по моему не поддержанному ничем предложению. Я это предвидел еще несколько часов назад. Если быть точным, сегодня рано утром. Поэтому я позволил себе подготовиться к еще одной возможности обсудить это с вами. Я позволил себе послать вам подарок. Когда вернетесь домой, вы найдете там его. Затем, если почувствуете, что я вполне оправданно ожидал этого от вас, вы сможете позвонить мне и сказать, хотите вы встретиться с миссис Питер Китинг или нет.

— Тухи, это невероятно, но, кажется, вы предлагаете мне взятку.

— Именно так.

— Знаете, за все, что вы здесь разыграли, вас бы следовало вышвырнуть отсюда — или позволить вам выйти сухим из воды.

— Я уповаю на ваше мнение о моем подарке по возвращении домой.

— Ладно, мистер Тухи. Я взгляну на ваш подарок.

Тухи поклонился и повернулся, чтобы уйти. Когда он уже дошел до двери, Винанд прибавил:

— Знаете, Тухи, недалек тот день, когда вы мне надоедите.

— Я постараюсь не делать этого — до поры до времени, — ответил Тухи, еще раз поклонился и вышел.

Когда Винанд вернулся к себе, он совершенно забыл об Эллсворте Тухи.

Этим вечером в своей квартире Винанд ужинал с женщиной, у которой была белоснежная кожа лица и мягкие каштановые волосы, за ней маячило три столетия отцов и братьев, которые убили бы человека даже за намек о тех вещах, которые проделывал с ней Гейл Винанд.

Линия ее руки, когда она подняла хрустальный стакан с водой к губам, была так же совершенна, как серебряный подсвечник, созданный руками несравненного таланта, и Винанд с некоторым интересом разглядывал ее. Пламя свечи рельефно оттеняло ее лицо и создавало такую красоту, что он пожалел, что оно живое и он не может просто смотреть на него, ничего не говоря, и думать, что придет в голову.

— Через месяц-другой, Гейл, — лениво улыбаясь, произнесла она, — когда все вокруг станет холодным и противным, давай возьмем «Я буду» и поплывем куда-нибудь, где солнце и тепло, как мы сделали прошлой зимой.

«Я буду» — так называлась яхта Винанда, и он никому и никогда не объяснял эту загадку. Многие женщины спрашивали его об этом. Эта женщина тоже уже спрашивала его. И теперь, так как он продолжал молчать, она вновь спросила:

— Кстати, милый, что все же это значит, — я говорю об имени твоей изумительной яхты?

— Это вопрос, на который я не отвечаю, — сказал он. — Один из тех.

— Хорошо. Но не позаботиться ли мне об одежде для путешествия?

— Зеленый идет тебе больше всего. Он хорошо смотрится на море. Мне нравится смотреть, как он гармонирует с твоими волосами и руками. Мне будет не хватать твоих обнаженных рук на зеленом шелке. Потому что сегодня последний раз.

Ее пальцы, державшие стакан, не дрогнули. Ничто не говорило о том, что это будет последний раз. Но она знала, что ему, чтобы покончить со всем, достаточно этих слов. Все женщины Винанда знали заранее, что им следует ожидать подобного конца и что возражать бесполезно. Спустя минуту она спросила тихим голосом:

— И по какой причине, Гейл?

— По вполне понятной.

Он сунул руку в карман и извлек бриллиантовый браслет; в отблеске свечей браслет загорелся холодным, блестящим огнем, его тяжелые звенья свободно повисли на пальцах Винанда. Ни коробки, ни обертки не оказалось. Он бросил его через стол.

— В знак памяти, дорогая, — произнес он. — Намного более ценный, чем то, что он призван обозначать.

Браслет ударился о стакан, вызвав в нем звук, подобный тихому резкому вскрику, как будто стекло вскрикнуло вместо женщины. Женщина же не произнесла ни звука. Он понимал, что это отвратительно, потому что женщина была не из тех, которым можно дарить такие подарки в такие минуты, как и другие женщины, с которыми он имел дело, и потому что она не сможет отказаться, как не смогли отказаться другие.

— Благодарю, Гейл, — сказала она, замкнув браслет на запястье и не глядя на него.

Позднее, когда они проходили в гостиную, она остановилась, и взгляд ее сквозь полуопущенные веки с длинными ресницами скользнул в темноту, туда, где была лестница в его спальню.

— Позволишь мне заслужить твой памятный подарок Гейл? — спросила она ровным

голосом.

Он покачал головой.

— По правде говоря, я хотел бы, — ответил он. — Но я устал.

Когда она ушла, он остался стоять в холле, думая, что она страдала и это страдание было настоящим, но со временем ничто из этого не будет для нее реальным, кроме браслета. Он не мог припомнить, когда подобная мысль могла вызвать у него горечь. Осознав, что случившееся сегодня вечером касается и его лично, он ничего не почувствовал, лишь удивился тому, что не сделал этого давным-давно.

Он пошел в библиотеку, уселся и читал несколько часов подряд. Затем бросил чтение, бросил внезапно, без всякой причины, прямо посреди важного высказывания. У него не было никакого желания продолжать чтение. У него не было даже желания сделать усилие продолжить его.

С ним ничего не произошло, ведь происходящее — это реальность, а никакая реальность никогда не могла лишить его сил, здесь же было какое-то огромное отрицание, как будто все было стерто, осталась лишь бесчувственная пустота, слегка неприличная, потому что она казалась столь заурядной, столь неинтересной, как убийство с улыбкой благодушия.

Ничто не изменилось, ушло только желание; нет, гораздо больше, корень всего — желание желать. Он подумал, что человек, лишившись глаз, все же сохраняет понятие зрения; хотя он слышал и о более ужасной слепоте: если центры, контролирующие зрение, разрушены, человек теряет даже память о том, как он видел раньше, не может вспомнить никаких зрительных образов.

Он оставил книгу и поднялся. У него не было желания оставаться на месте, не было желания и уйти отсюда. Он подумал, что, наверное, лучше поспать. Конечно, для него это слишком рано, но он мог встать утром пораньше. Он поднялся в спальню, принял душ, надел пижаму. Потом открыл ящик бюро и увидел пистолет, который там хранил. Это было как откровение, внезапный подъем интереса, и он взял его.

Мысль, что следует застрелиться, показалась ему очень убедительной, потому что он не почувствовал никакого испуга. Мысль оказалась столь простой, что ее даже не требовалось проверять, как, например, снотворные пилюли.

И вот он уже стоит у стеклянной стены, остановленный самой простотой этой мысли. Человек может сделать свою жизнь снотворной пилюлей, подумал он, — но какая же пилюля от смерти?

Он подошел и сел на кровать, пистолет оттягивал ему руку. Человек, подумал он, в последние минуты перед смертью в мгновенном озарении видит всю свою жизнь. Я же ничего не вижу. Но я могу заставить себя увидеть. Я могу насильно пережить это вновь. Пусть это поможет мне или найти волю к жизни, или причину, чтобы с ней покончить.

Гейл Винанд, мальчик двенадцати лет, стоял в темноте в проломе полуразрушенной стены на берегу Гудзона, рука его была сжата в кулак и отведена назад. Он ждал.

Камни под его ногами поднимались по останкам того, что когда-то было углом здания; уцелевшая его часть прикрывала Гейла со стороны улицы, перед ним был лишь отвесный спуск к реке. Неосвещенное и неогражденное водное пространство лежало перед ним, покосившиеся сараи, пустое пространство неба, склады, погнутые карнизы, свисавшие кое-где над зловецом теплящимися светом окнами.

Сейчас ему придется драться — и он знал, что драться надо будет не на жизнь, а на смерть. Он стоял неподвижно. Сжатый кулак, опущенный и отведенный назад, казалось, сжимал невидимые провода, проведенные ко всем главным точкам его тощего, почти без плоти тела под рваными штанами и рубашкой к удлиненным, напряженным мышцам голых рук, к туго

натянутой мускулатуре шеи. Провода, казалось, вибрировали; тело оставалось неподвижным. Он был подобен новому виду смертоносного механизма; если бы палец коснулся любой точки его тела, это прикосновение спустило бы курок.

Он знал, что главарь шайки подростков ищет его и что главарь придет не один. Двое парней из банды придут с ножами; за одним из них уже числилось убийство. Он ждал их, но в его карманах было пусто. Он был самым юным членом банды и примкнул к ней последним. Главарь сказал, что его надо проучить.

Все началось из-за грабежа барж на реке, к которому готовилась банда. Главарь решил, что дело надо начать ночью, и банда согласилась — все, кроме Гейла Винанда. Гейл Винанд тихо и презрительно объяснил, что страшилы-малолетки из банды, что ниже по реке, пытались проделать ту же штуку на прошлой неделе, и шесть членов банды попали в лапы полицейских, а еще двое и вовсе оказались на кладбище; на дело надо идти на рассвете, когда их никто не ждет. Банда его освистала. Но это ничего не изменило. Слушаться приказов Гейл Винанд не умел. Он не признавал ничего, кроме правильности только своих решений. Поэтому главарь захотел решить спор раз и навсегда.

Трое парней крались так тихо, что люди за тонкими стенками не слышали шагов. Гейл Винанд слышал их за целый квартал. Он не пошевелился в своем углу, только кулаки его слегка сжались.

Когда наступил нужный момент, он выпрыгнул из-за угла. Выпрыгнул прямо на открытое пространство, не заботясь о том, где приземлится, будто выброшенный катапультой сразу на милю вперед. Его грудь ударила в голову одного из врагов, живот — другого, а нога нанесла сокрушительный удар третьему. Все четверо покатались вниз. Когда трое нападавших подняли головы, Гейла Винанда уже нельзя было различить; они видели только какой-то вихрь над собой в воздухе, и что-то выступало из этого вихря и било по ним жестокими ударами.

У него были только собственные кулаки; на их стороне было пять кулаков и нож, но это все, казалось, не шло в счет. Они слышали, что их кулаки бились обо что-то с глухим тяжелым стуком, как о плотную резину; они чувствовали, как нож натывается на что-то в ударе. Но они дрались с чем-то, что никак не поддавалось. У него не было времени чувствовать, он делал все слишком быстро; боль не достигала его, казалось, он оставлял ее где-то там, в пространстве над местом схватки, где она лишь касалась его, потому что в следующую секунду его уже там не было.

Казалось, у него за спиной, между лопатками, помещен мотор, который раскручивал его руки двумя кругами, видны были только эти круги; руки исчезли, как спицы крутящегося колеса. Круг каждый раз чего-то касался и останавливался. Но спицы не ломались. Один из парней увидел, как его нож исчез в плече Винанда, он различил, как плечо встряхнулось, а нож упал вниз, к поясу Винанда. Это было последним, что видел парень. Что-то случилось с его подбородком, и он упал, стукнувшись затылком о грудку битого кирпича.

Еще долго оставшиеся двое дрались против этой центрифуги, которая уже разбрызгивала капли крови по стене позади них. Но все было бесполезно. Они дрались не с человеком. Они дрались против бестелесной человеческой воли.

Когда они сдались и хрипели, распростершись на грудке кирпичей, Гейл Винанд произнес своим обычным голосом: «Мы провернем это дело на рассвете» — и ушел. С этого момента он стал главарем шайки.

Грабеж барж начали два дня спустя на рассвете, он прошел с блестящим успехом.

Гейл Винанд жил вместе с отцом в подвальном помещении старого дома в самом центре Адской Кухни. Его отец был докером. Это был высокий молчаливый человек без всякого образования, никогда не посещавший школу. Его отец, как и дед, были с ним одного поля ягоды,

не знавшие ничего, кроме бедности. Но каким-то образом в их роду в исторической дали оказались и аристократы; кто-то из них был одно время хорошо известен, но произошла какая-то трагедия, давно всеми забытая, которая и привела его потомков в самый низ общественной лестницы. Что-то во всех Винандах — были ли они у себя дома, в таверне или в тюрьме — не вязалось с их окружением. Отец Гейла был известен на побережье под прозвищем Герцог.

Мать Гейла умерла от туберкулеза легких, когда ему исполнилось два года. Он был единственным сыном. Он смутно чувствовал, что в женитьбе отца скрыта какая-то большая драма; он видел фотографию своей матери — она выглядела и была одета не как женщины, живущие по соседству, она была очень красива. Когда она умерла, вся жизнь, казалось, ушла из его отца. Он любил Гейла, но такая привязанность требовала для своего удовлетворения не более двух-трех фраз в неделю.

Гейл не был похож на мать и отца. Он явился своего рода атавизмом, осколком времени, расстояние до которого измерялось не поколениями, а столетиями. Для своего возраста он был всегда слишком высок, а также слишком тонок. Сверстники называли его Винанд Дылда. Никто не знал, что у него вместо мускулов, но все твердо знали, что пользоваться этим он умеет.

С самого раннего возраста ему пришлось работать, часто меняя хозяев. Довольно долго он торговал газетами на улице. Однажды он пришел к своему боссу и предложил обслуживать клиентов по-новому: разносить газеты прямо к дверям читателей по утрам; он объяснил, как и почему это приумножит их число.

— Н-да? — хмыкнул босс.

— Я знаю, это сработает, — утверждал Винанд.

— Что ж, может быть, но не ты здесь главный, — отвечал хозяин.

— Вы идиот, — сказал Винанд. Он потерял работу.

Он работал в бакалейной лавке. Бегал с поручениями, мыл влажный деревянный пол, сортировал груды гнилых овощей, помогал обслуживать покупателей, терпеливо взвешивая фунт муки или разливая молоко из громадного бидона в приносимую посуду. Это было все равно, что гладить носовой платок паровым катком. Но он, стиснув зубы, работал, ни на что не обращая внимания. Однажды он объяснил хозяину лавки, что разливать молоко в бутылки, как виски, было бы очень выгодным делом.

— Заткни фонтан и обслужи миссис Салливан, — ответил бакалейщик. — Думаешь, ты скажешь что-то, чего я сам не знаю о своей лавке? Не ты здесь главный.

Он обслужил миссис Салливан и не сказал ничего в ответ.

Он работал в бильярдной. Чистил плевательницы и подтирал за пьяными. Он слышал и видел такое, что привило ему иммунитет к удивлению на всю оставшуюся жизнь. Чтобы сохранить место, которое некоторые называли его местом, он был вынужден постоянно сдерживаться, учиться молчать, принимать как должное некомпетентность своих хозяев — и ждать. Никто не слышал, чтобы он говорил о том, что чувствует. А в нем боролись самые противоречивые чувства по отношению к окружающим, но чувства уважения среди них не было.

Он работал чистильщиком сапог на пароме. Получал тычки и указания от каждого подвыпившего торговца лошадьми, от каждого пьяного матроса. Если он заговаривал, то слышал в ответ грубый окрик: «Не ты здесь главный». Но ему нравилась его работа. Когда не было клиентов, он стоял у бортового ограждения и смотрел на Манхэттен. Смотрел на желтые стены новых домов, пустующие клочки земли, краны и редкие башни, поднимающиеся вдали. Он думал о том, что здесь можно построить и что надо разрушить, о том, какие здесь открываются возможности и как их можно использовать. Хриплые крики «Эй, мальчик!» прерывали ход его мыслей. Он возвращался к своей скамейке и послушно склонялся над каким-нибудь грязным башмаком. Клиент видел только маленькую головку со светлыми каштановыми волосами и пару

тонких, проворных рук.

В туманные вечера при свете газовых ламп на перекрестках никто не замечал стройной фигуры мальчика, прислонившегося к фонарному столбу, аристократа средних веков, бессмертного патриция, каждая клеточка тела которого кричала о том, что он рожден, чтобы отдавать приказы. Его быстрый ум говорил ему, почему у него есть право на это. Но он, барон-феодал, созданный для власти, рожден мыть полы и выполнять приказы.

В возрасте пяти лет он сам научился читать и писать, задавая вопросы. Он читал все, что ему попадалось под руку. Он выходил из себя, если чего-то не понимал. Он должен был понимать все, что кто-либо знал. Эмблемой его детства, гербом, который он придумал для себя вместо утерянного столетия назад, был знак вопроса.

Ему не нужно было объяснять что-либо дважды. Он усвоил основы математики от инженеров, прокладывавших канализационные трубы. Он узнал о географии от моряков на побережье. Он познакомился с общественным устройством благодаря политикам местного клуба, который был гангстерским притоном. Он никогда не был ни в церкви, ни в школе. Ему было двенадцать, когда он однажды зашел в церковь. Он прослушал проповедь о терпении и покорности. Больше он в церковь не ходил. Ему было тринадцать, когда он решил взглянуть, что такое образование, и записался в начальную школу. Его отец ничего не сказал, как не говорил ничего, когда Гейл, весь избитый, возвращался домой после уличных драк.

В течение первой недели учительница постоянно вызывала к доске Гейла Винанда — для нее это было наслаждением, потому что он всегда знал ответ. Если он верил тем, кто был выше его, и их целям, то подчинялся, как спартанец, заставляя себя следовать правилам дисциплины, которых требовал от собственных подчиненных в банде. Но сила его воли была растрачена понапрасну — через неделю он понял, что ему не нужно усилий, чтобы быть первым в классе. Через месяц учительница перестала замечать его присутствие в классе, это оказалось ненужным, он по-прежнему всегда знал урок, и она могла перенести свое внимание на более слабых, медленнее соображающих детей. Он сидел, откинувшись назад, часами, которые разматывались, как цепь, в то время как учительница повторяла, разжевывала снова и снова, потя от усилия выбить хоть искру интеллекта из пустых глаз и бормочущих голосов. В конце второго месяца, делая обзор тех обрывков истории, которые она пыталась вбить в своих учеников, учительница спросила:

— Из скольких штатов состоял первоначально Союз?

Не поднялась ни одна рука. Потом поднял руку Гейл Винанд. Учительница кивнула ему. Он поднялся.

— Почему, — спросил он, — я должен выслушивать одно и то же десять раз? Я все это знаю.

— Но ты не единственный ученик в классе, — ответила учительница.

Он произнес нечто такое, что заставило ее побелеть, а через пятнадцать минут, когда она поняла наконец все, и покраснеть. Он пошел к двери. На пороге обернулся и добавил:

— Ах да. Первоначально Союз составили тринадцать штатов. Так окончилось его официальное образование.

В Адской Кухне жили люди, никогда не переступавшие ее границ, были и другие — они редко выходили даже за пределы дома, в котором родились. Но Гейл Винанд часто прогуливался по лучшим улицам города. Он не чувствовал горечи от созерцания мира богатых, он был свободен от чувства зависти или страха. Ему было просто любопытно. И он чувствовал себя дома как на Пятой авеню<sup>[2]</sup>, так и в любом другом месте. Он прогуливался мимо роскошных особняков, заложив руки в карманы, пальцы выпирали из его башмаков на тонкой подошве. Прохожие глазели на него, но он их не замечал. Он проходил, оставляя за собой ощущение, что

эта улица создана для него, а не для них. Пока он ничего не хотел — только понять.

Он старался понять, что отличало этих людей от тех, среди кого он жил. Его взгляд не останавливался на одежде, машинах или банках, он видел только книги. У людей, окружавших его, были одежда, экипажи и деньги, степень их богатства была несущественна; но они не читали книг. Он решил узнать, что читают обитатели Пятой авеню. Однажды он увидел читающую книгу леди, которая ожидала кого-то в карете на углу; он сразу понял, что это настоящая леди, его суждения в таких делах были более точны, чем «Светский альманах». Он прыгнул на подножку кареты, схватил книгу и убежал. Чтобы поймать его, нужны были более проворные и менее толстые люди, чем полицейские.

Это была книга Герберта Спенсера<sup>[3]</sup>. Он испытал настоящую агонию, прежде чем дочитал ее. Он прочел ее до конца и понял четверть из того, что прочел, но это вовлекло его в последовательность действий, которой он неуклонно придерживался. Без всяких советов, помощи или плана он начал чтение самых разнообразных книг; он сталкивался с тем, чего не мог понять в одной книге, и тогда доставал другую на нужную тему. Круг его беспорядочного чтения ширился во всех направлениях; сначала он читал книги, требующие специальных знаний, а вслед за ними элементарные учебники средней школы. В его чтении не было системы, но в том, что оставалось у него в голове, система была.

Он обнаружил читальный зал в публичной библиотеке, куда время от времени заходил изучить обстановку. Однажды туда заявила цепочка молодых парней, скверно причесанных и не вполне промытых. Выходили они отнюдь не такими тощими, как вошли. В этот вечер Гейл Винанд приобрел собственную небольшую библиотеку, разместившуюся в одном из углов его комнаты. Шайка без всякого протеста выполнила его приказ. Это была скандальная проделка — ни одна уважающая себя банда никогда не воровала ничего столь бесполезного, как книги. Но Винанд Дылда отдавал приказы — и никто никогда с ним не спорил.

Ему было пятнадцать, когда однажды утром его обнаружили в канаве. Это была масса кровоточащей плоти, обе ноги были сломаны, его избил подвыпивший портовый грузчик. Когда его нашли, он был без сознания. Но он был в сознании после побоев. Он был один в темном закоулке. За углом он увидел свет. Никто не знал, как он смог доползти до угла, но он смог; позже прохожие видели длинную полосу крови на мостовой. Он полз, опираясь только на руки. Он постучал в какую-то дверь. Это была пивная, еще открытая. Хозяин вышел на улицу. Это был единственный раз в жизни, когда Гейл Винанд просил о помощи. Хозяин пивной посмотрел на него пустым тяжелым взглядом, взглядом, в котором читались и понимание чужой боли и несправедливости, и невозмутимое бычье безразличие. Хозяин пивной вернулся в свое заведение и захлопнул дверь. У него не было никакого желания вмешиваться в разборки между бандами.

Годы спустя Гейл Винанд, издатель нью-йоркского «Знамени», все еще помнил имена портового грузчика и хозяина пивной и знал, где их можно найти. Он ничего не сделал портовому грузчику. Но приложил усилия, чтобы пустить хозяина пивной по миру, добился, чтобы тот потерял свой дом и все свои сбережения, и довел его до самоубийства.

Когда Гейлу Винанду исполнилось шестнадцать лет, умер его отец. В то время он остался без работы, он был один, с шестьюдесятью центами в кармане, неоплаченными счетами за квартиру и хаотической эрудицией. Он решил, что пришло время решать, что делать со своей жизнью. В тот вечер он поднялся на крышу своего дома и долго разглядывал огни города, города, где главным был не он. Его глаза медленно скользили от окон сырых лачуг вокруг к окнам особняков вдали. Видны были только светящиеся прямоугольники, подвешенные в темноте, но он мог угадать, к каким строениям они относились; огни вокруг выглядели мутными, навевающими печаль, тогда как те, что виднелись на расстоянии, были яркими и



бодрыми. Его волновал лишь один вопрос: что же объединяет те и другие — дома с тусклыми и дома с яркими окнами, что общего во всех этих комнатах, во всех этих людях? Все они ели свой хлеб. Можно ли править этими людьми с помощью хлеба, который они покупают? У них была обувь, у них был кофе, у них было... И дальнейший ход его жизни определился.

На следующее утро он вошел в кабинет редактора «Газеты», третьесортного листка, размещавшегося в обшарпанном доме, и попросил работу в отделе местных новостей. Редактор посмотрел на его одежду и осведомился:

— А ты можешь написать слово «кошка»?

— А вы можете написать слово «антропоморфология»? — спросил вместо ответа Винанд.

— Уходи. У нас нет для тебя работы, — сказал редактор.

— Я буду поблизости, — заявил Винанд. — Вдруг понадобится. Мне можно ничего не платить. Заплатите, когда почувствуете, что пора.

Он остался сидеть на ступеньках лестницы возле отдела местных новостей. Он сидел там каждый день в течение недели. Никто не обращал на него внимания. Ночью он устраивался в проходе у двери. Когда большая часть его денег иссякла, он начал красть еду с прилавков или находил ее в отбросах перед тем, как возвратиться на свой пост.

Однажды какой-то репортер пожалел его и, спускаясь по лестнице, бросил ему пятицентовик:

— Сходи купи себе что-нибудь поесть, парень.

В кармане у Винанда оставалось лишь десять центов. Он вынул их и бросил репортеру с пожеланием:

— Сходи, купи себе кого-нибудь траунуть.

Тот выругался и сошел вниз. Монеты остались лежать на ступеньках. Это происшествие обсуждали в отделе. Прыщавый клерк пожал плечами и взял обе монеты.

В конце недели, в час пик, кто-то из отдела позвал Винанда и дал ему поручение. За ним последовали и другие мелкие задания. Он выполнил их с военной четкостью. Через десять дней его внесли в ведомость на зарплату. Через шесть месяцев он стал репортером. Через два года он был уже заместителем редактора.

Гейлу Винанду исполнилось двадцать, когда он влюбился. Он знал все, что нужно знать о сексе, с тринадцати лет. У него было много девиц. Он никогда не говорил о любви, не имел никаких романтических иллюзий на этот счет и рассматривал все эти вещи как простую животную потребность, в этом уж он был знатоком — и женщины угадывали это, просто взглянув на него. Девушка, в которую он влюбился, отличалась необычайной красотой, такой красоте надо было поклоняться, а не желать ее. Она была хрупка и молчалива. Ее лицо говорило о каких-то милых тайнах, живших в ней, но не нашедших еще своего выражения.

Она стала любовницей Гейла Винанда. Он позволил себе слабость быть счастливым. Он тотчас женился бы на ней, если бы она хоть раз заговорила об этом. Но они мало говорили друг с другом. Он чувствовал, что между ними все ясно и понятно.

Однажды вечером он заговорил. Сидя возле ее ног, он решился открыть свою душу:

— Дорогая, все, чего ты хочешь, все, чем я являюсь сейчас, все, чем я могу когда-либо стать... Все это я хотел бы отдать тебе... Не вещи, которые я тебе дарю, а то во мне, что позволяет их добиться. Все, от чего мужчина не может отказаться... Но я хочу это сделать — так, чтобы это стало твоим, так, чтобы это служило тебе — только тебе.

Девушка улыбнулась и спросила:

— Ты считаешь, что я красивее Мэгги Келли?

Он встал. Он ничего не сказал и вышел из дома. Больше он никогда не видел эту девушку. Гейл Винанд, который гордился тем, что ему не надо повторять урок дважды, за все

последующие годы больше никогда не влюблялся.

Ему исполнился двадцать один год, когда его карьера в «Газете» оказалась под угрозой, в первый и единственный раз. Политика и коррупция его никогда не волновали — он знал об этом все: в свое время его банде платили за организацию потасовок у избирательных участков в дни голосования. Но когда против Пата Маллигана, капитана полиции его участка, было выдвинуто несправедливое обвинение, Винанд не смог этого перенести, потому что Пат Маллиган был единственным честным человеком, которого он встретил в своей жизни.

«Газету» контролировали те силы, которые обвиняли Маллигана. Винанд не сказал ничего. Только систематизировал в своей голове сведения, которыми располагал, чтобы взорвать к чертям саму «Газету». Правда, вместе с ней взлетела бы на воздух и его работа, но это уже не имело значения. Его решение противоречило всем правилам, которые он положил в основу своей карьеры. Но он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляли забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать все по-своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным. Он понимал также, что крушение газеты будет только первым шагом. Но чтобы спасти Маллигана, даже такого шага было недостаточно.

Уже три года Винанд хранил небольшую вырезку, передовицу о коррупции, написанную редактором одной очень крупной газеты. Он хранил ее, потому что это было прекраснейшее подтверждение человеческой порядочности. Он взял эту вырезку и отправился на встречу с великим редактором. Он решил рассказать ему о Маллигане, чтобы они вместе придумали, как справиться с кознями.

Он долго шел пешком через весь город к зданию известной газеты. Он нуждался в такой прогулке. Она помогла ему справиться с бушевавшей в нем яростью. Его допустили в кабинет редактора — он умел попадать, куда ему было надо, в обход всех правил. За столом он увидел толстяка с узкими, близко посаженными глазами. Он не стал представляться, вместо этого положил на стол вырезку и спросил:

— Вы помните это?

Редактор взглянул на вырезку, потом на Винанда. Это был взгляд, с которым Винанд уже сталкивался: в глазах хозяина пивной, захлопнувшего перед ним дверь.

— Неужели ты думаешь, что я помню весь тот бред, который пишу? — спросил редактор.

Помолчав секунду, Винанд сказал:

— Спасибо.

Это был единственный раз, когда он почувствовал к кому-то благодарность. Благодарность была подлинной — плата за урок, который ему больше не понадобится. Но даже редактор понял, что в его «спасибо» было что-то не то, что-то пугающее. Он не знал, что это был некролог Гейлу Винанду.

Винанд пешком возвратился к себе в газету, злость на редактора, на махинации политиков прошла. Он чувствовал только гневное презрение к себе, к Пату Маллигану и к человеческой порядочности; он чувствовал стыд, когда думал о тех, чьими жертвами он и Маллиган чуть добровольно не стали. Он не думал — жертвами, он думал — дураками. Он поднялся к себе в кабинет и написал блестящую передовицу, обличавшую капитана Маллигана.

— Господи, а я-то думал, что ты сочувствуешь этому бедолаге, — сказал польщенный редактор.

— Я никому не сочувствую, — ответил Винанд.

Бакалейщики и палубные матросы не оценили Гейла Винанда; политики же смогли оценить. За годы работы в газете он научился ладить с людьми. Лицо его приняло выражение, которое сохранилось на всю оставшуюся жизнь: не совсем улыбка, скорее выражение иронии,

адресованной всему миру. Можно было подумать, что его насмешка направлена против тех же вещей, над которыми смеются окружающие. Кроме того, было приятно иметь дело с человеком, которого не волнуют страсти или почтение к святости.

Ему было двадцать три года, когда свора политиков, твердо намеренная выиграть муниципальные выборы и нуждавшаяся в поддержке своих планов печатным словом, купила «Газету». Они купили ее на имя Гейла Винанда, задачей которого являлось быть респектабельным фасадом для их махинаций. Гейла Винанда сделали главным редактором. Он поддержал идеи своих боссов и выиграл для них выборы. Два года спустя он разгромил эту свору, отправил ее главарей за решетку и остался единственным владельцем «Газеты».

Первым делом он содрал вывеску на дверях здания и сменил название газеты. Так появилось на свет нью-йоркское «Знамя». Друзья возражали. «Издатели не меняют названия своих газет», — говорили ему. «Этот издатель меняет; — возразил он.

Первая кампания, которую предприняло «Знамя», призывала читателей пожертвовать деньги на благотворительность. «Знамя» начало публиковать две истории; им было отведено равное количество газетной площади. Первая рассказывала о работавшем над великим изобретением молодом ученом, умирающем от голода в чердачной комнате; вторая — о горничной, возлюбленной казненного убийцы, ожидавшей появления на свет незаконнорожденного ребенка.

Первая история была иллюстрирована диаграммами, вторая — портретом девушки с большим ртом и трагическим выражением лица; одежда девушки была в некотором беспорядке. «Знамя» просило своих читателей помочь обоим несчастным. Редакция получила девять долларов сорок пять центов для молодого ученого и тысячу семьдесят семь долларов для незамужней матери. Гейл Винанд провел совещание с персоналом. Он положил на стол газету с обеими версиями и деньги, собранные для обоих благотворительных фондов.

— Есть ли среди присутствующих кто-то, кто не понимает? — спросил он. Ответа не последовало. Он сказал: — Теперь вы знаете, какой должна быть газета «Знамя».

Издатели в то время имели обыкновение гордиться тем, что их индивидуальность четко выявляется в издаваемых ими газетах. Гейл Винанд отдал свою газету, всю без остатка, вкусам толпы. «Знамя» стало похожим на цирковую афишу по форме и цирковое представление по сути. Оно придерживалось и тех же принципов: развлекать и собирать дань с пришедших. Оно несло на себе отпечаток не одного, а миллионов людей. Гейл Винанд так объяснял проводимую им политику:

— Люди различаются по своим достоинствам, если они вообще у них имеются, но всегда одинаковы в своих пороках. — При этом, глядя прямо в лицо собеседника, он добавлял: — Я служу огромному числу людей на нашей планете. Я представляю большинство — разве это не добродетель само по себе?

Толпа требовала описаний преступлений, скандалов и страстей. Гейл Винанд щедро снабжал ее всем этим. Он давал людям то, чего они хотели, и, кроме того, оправдывал вкусы, которых они стыдились. «Знамя» описывало убийства, поджоги, изнасилования, коррупцию — с соответствующей долей морали. Пропорция была выверена: на три колонки преступлений полагалась одна нравоучительная.

— Если вы направляете человека к благородной цели, это ему быстро наскучит, — говорил Винанд. — Если потакаете во всех пороках, ему будет стыдно. Но соедините то и другое — и он ваш.

Он публиковал рассказы о падших девушках, разводах в избранном обществе, приютах для подкидышей, районах красных фонарей, больницах для неимущих.

— Сначала секс, — повторял Винанд. — Слезы потом. Пусть они сначала попотеют, а

потом дайте им поплакать — и они в ваших руках.

«Знамя» возглавляло шумные походы общественности — если цель была самоочевидна. Оно обличало политиканов — за один шаг до решения суда; оно боролось против монополий — во имя угнетенных; оно насмеялось над богатыми и удачливыми — как это делали те, кто не был ни богат, ни удачлив. Оно всячески подчеркивало блеск высшего света — и публиковало светскую хронику со скрытой ухмылкой. Это давало человеку с улицы двойное удовлетворение: можно было войти в гостиные самых известных людей, не вытирая ног на пороге.

«Знамени» было дозволено злоупотреблять истиной, вкусом и верой — но не читательскими мозгами. Его громадные заголовки, великолепные фотографии и свехупрощенные тексты били по чувствам и западали в сознание без промежуточного процесса размышления — так питательный бульон, введенный с помощью клизмы, не требует переваривания.

— Новости, — учил Гейл Винанд своих подчиненных, — это то, что создает наибольший взрыв интереса среди наибольшего числа людей. Это то, что убивает наповал. Чем сильнее, тем лучше, главное, чтобы этих людей было достаточное количество.

Однажды он привел в редакцию человека, которого нашел прямо на улице. Это был обычный человек, одетый не очень хорошо, но и не в лохмотьях; не высокий, но и не низкий, не темноволосый, но и не блондин; его лицо трудно было запомнить, даже если долго разглядывать. Просто пугало, насколько он походил на любого другого; в нем не было даже тех индивидуальных черточек, по которым узнают придурка. Винанд провел его по зданию, представил каждому из сотрудников, а потом отпустил. Затем Винанд созвал совещание сотрудников и сказал им:

— Когда вы сомневаетесь в своей работе, вспомните лицо этого человека. Вы пишете для него.

— Но, мистер Винанд, — запротестовал один из молодых редакторов, — его лица нельзя вспомнить.

— В этом все и дело, — резюмировал Винанд.

Когда имя Гейла Винанда превратилось в угрозу для всего издательского мира, несколько владельцев газет отвели его в сторону — дело было на городском благотворительном собрании, где он присутствовал, — и начали упрекать в том, что они называли «потакать вкусам толпы».

— Это не мое дело, — ответил им Винанд, — помогать людям сохранять самоуважение, если его у них нет. Вы даете им то, что они, по их же публичным признаниям, любят. Я же им даю то, что им действительно нравится. Честность — лучшая политика, джентльмены, хотя и не совсем в том смысле, в каком вас учили.

Плохо делать свое дело было невозможно для Винанда. Какими бы ни были его цели, его средства были совершенны. Вся сила, вся воля, не допущенные на страницы его газеты, шли на ее оформление. Исключительный талант впустую сжигался, чтобы достичь совершенства в сотворении заурядного. Энергии духа, затраченной на сбор подозрительных историек и размазывание их на страницах газеты, хватило бы на создание новой религии.

«Знамя» всегда было первым поставщиком новостей. Когда в Южной Америке произошло землетрясение и не было никакой связи с районом бедствия, Винанд нанял судно, послал туда группу репортеров и распространял на улицах Нью-Йорка специальные выпуски, на несколько дней опередив конкурентов. В специальных выпусках можно было видеть рисунки, изображавшие пожары, трещины в земле, раздавленные тела. Когда с корабля, тонущего во время шторма у Атлантического побережья, был получен сигнал SOS, Винанд с группой своих репортеров поспешил туда, опережая службу береговой охраны. Винанд возглавил операцию по спасению и возвратился с уникальным материалом, с фотографией, на которой он поднимался

по трапу над бушующими волнами, держа на руках ребенка. Когда деревушка в Канаде была стерта с лица земли снежной лавиной, «Знамя» послало туда аэростат, чтобы сбросить пищу и Библии ее жителям. Угледобывающий район был парализован забастовкой — и «Знамя» организовало раздачу бесплатного супа и публиковало трагические истории об опасностях, подстерегающих прелестных дочерей шахтеров, живущих в бедности. Котенок попал в западню и был спасен фотографом «Знамени».

«Если нет новостей, надо организовать их» — стало девизом Винанда. Из сумасшедшего дома, принадлежавшего штату, бежал лунатик. Последовали дни, наполненные ужасом для жителей этого района, ужасом, который подогревало «Знамя», публиковавшее мрачные прогнозы и негодовавшее против бессилия местной полиции, — лунатика обнаружил репортер «Знамени». Через две недели после поимки лунатик чудесным образом поправился и был выпущен. Он продал «Знамени» репортаж о плохом обращении, которому подвергался, находясь в этом заведении. Последовали мгновенные реформы. Впоследствии поползли слухи, что лунатик перед этим происшествием работал на «Знамя». Они не были доказаны.

В мастерской, где работали тридцать молодых девушек, вспыхнул пожар. Он унес жизни двоих из них. Мэри Ватсон, одна из спасшихся, дала «Знамени» эксклюзивное интервью о жуткой эксплуатации, которой они подвергались. Это привело к кампании против мастерских с потогонной системой, которую возглавили самые уважаемые дамы города. Причину пожара не обнаружили. Ходили слухи, что настоящее имя Мэри Ватсон — Эвлин Дрейк и она писала для «Знамени». Это не было доказано.

В первые годы существования «Знамени» Гейл Винанд чаще проводил ночи на диване в своем кабинете, чем у себя в спальне. То, чего он требовал от своих служащих, было трудно выполнить, в то, чего он требовал от себя, было трудно даже поверить. Он вел их, как полководец свои полки; себя же он эксплуатировал, как раба. Он хорошо оплачивал труд своих служащих, сам же довольствовался оплатой аренды жилья и пищей. Он жил в меблированных комнатах, тогда как его лучшие репортеры снимали люксы в дорогих гостиницах. Он тратил деньги быстрее, чем получал, — все свои деньги он тратил на «Знамя». Газета стала для него роскошной содержанкой, каждое желание которой удовлетворялось без раздумий о цене.

«Знамя» первым из газет получало самое современное типографское оборудование. «Знамя» числилось последним изданием среди тех, кому требовались репортеры, — из него не уходил никто. Винанд посетил редакции своих конкурентов — никто не мог позволить себе платить персоналу столько, сколько платил он. Он нанимал на работу по простой формуле. Когда какой-то журналист получал приглашение посетить Винанда, он воспринимал это как оскорбление своей профессиональной совести, но на встречу являлся. Он приходил, подготовившись выставить целый набор оскорбительных условий, па которых согласился бы работать, если бы вообще согласился. Винанд начинал разговор с того, что объявлял сумму, которую собирался платить. Затем добавлял:

— Мы могли бы, конечно, обсудить и другие условия... — и видя, как дергается кадык у собеседника, заключал: — Нет? Прекрасно. Явитесь ко мне в понедельник.

Когда Винанд открыл свою вторую газету — в Филадельфии, — местные издатели встретили его, как европейские вожди, объединившиеся против вторжения Атиллы. Война, последовавшая за этим, была столь же беспощадной. Винанд долго смеялся. Ему не требовались учителя, которые могли бы добавить что-либо к тому, что он знал о вербовке бандитов для кражи транспорта, доставляющего газеты, и избиения продавцов. Два конкурирующих издания погибли в борьбе. «Звезда Филадельфии» Винанда выжила.

Все остальное прошло быстро и просто, как эпидемия. К тому времени, когда ему исполнилось тридцать пять, газеты Винанда выходили во всех крупных городах Соединенных

Штатов. К своему сорокалетию он уже выпускал журналы, программу новостей для кино и владел большей частью предприятий, входивших в концерн Винанда.

Весьма высокая активность в сферах, о которых газеты молчали, помогла ему сколотить огромное состояние. Он ничего не забыл из своего детства. Он вспомнил то, о чем думал, когда еще чистильщиком сапог стоял у бортового ограждения парома, — о возможностях, которые открывал перед ним город. Он покупал недвижимость, роста цен на которую никто не предвидел. По пути к успеху он скупил много различных предприятий. Иногда они лопались, разоряя всех, кто был с ними связан, за исключением Гейла Винанда. Он провел кампанию против темных дельцов, монополизировавших городской трамвай, и добился, чтобы они потеряли лицензию; лицензия была передана группе еще более темных дельцов, контрольный пакет акций оказался у Гейла Винанда. Он яростно обличал монополию на торговлю скотом на Среднем Западе — и оставил свободное поле для другой банды, действующей под его контролем.

Ему помогали очень многие люди, обнаружившие, что Винанд умный парень, достойный того, чтобы его использовать. Он проявлял очаровательную обходительность, выказывая радость, что его используют. Но всегда получалось так, что использован был не он, а другие, — как в деле с «Газетой», которую купили для Винанда.

Иногда ему случалось терять на инвестициях, но делалось это холодно и с трезвым расчетом. Путем последовательных незаметных действий, каждое из которых было трудно проследить, ему удалось разорить многих значительных лиц: президента банка, главу страховой компании, владельца парходства и других. Никто не мог понять мотивов его действий. Разоряемые им люди не были его конкурентами, и он не получал никакой выгоды от их краха. «Неизвестно, к чему стремится этот негодяй Винанд, — говорили вокруг, — но явно не к деньгам».

Те, кто слишком настойчиво обличал его, теряли работу, одни через несколько недель, другие — спустя много лет. Случалось, что он не обращал внимания на оскорбления, но были случаи, когда он мстил за вполне невинное замечание. Никто не мог утверждать с уверенностью, будет ли Винанд мстить, или же простит обидчика. Однажды он обратил внимание на блестящую работу молодого репортера чужой газеты и послал за ним. Тот явился, но сумма, о которой упомянул Винанд, не произвела на него никакого впечатления.

— Я не могу работать на вас, мистер Винанд, — заявил он с обезоруживающей честностью, — потому что у вас... у вас нет идеалов.

Тонкие губы Винанда раздвинулись в улыбке.

— От человеческой испорченности никуда не деться, малыш, — мягко сказал он. — Хозяин, на которого ты работаешь, возможно, и имеет идеалы, но вынужден выпрашивать деньги и исполнять распоряжения многих ничтожных людей. У меня нет идеалов — но я ни у кого не прошу. Выбирай. Третьего не дано.

Юноша вернулся в свою газету. Через год он вновь встретился с Винандом и спросил, осталось ли в силе приглашение. Винанд ответил утвердительно. С тех пор репортер оставался в «Знамени». Он был единственным в штате, кто любил Гейла Винанда.

Альва Скаррет, единственный из оставшихся от прежней «Газеты», поднимался вверх вместе с Винандом. Но никто не мог утверждать, что он любил Винанда, он просто примкнул к своему хозяину с автоматической преданностью дорожки под ногами. Альва Скаррет никогда никого не ненавидел, а потому был неспособен и на любовь. Он был ловким, знающим и безжалостным — в бесхитростной манере человека, которому неизвестно, что такое жалость. Он верил всему, что писал сам и что писалось в «Знамени». Его вера в написанное не держалась более двух недель. В этом смысле он был для Винанда бесценным человеком — он представлял

собой барометр общественного мнения.

Никто не мог сказать, есть ли у Гейла Винанда личная жизнь. Часы, проводимые вне редакционного кабинета, заимствовали свой стиль у первой страницы «Знамени», но в более грандиозном масштабе — он как бы продолжал цирковое представление, но лишь для царственных особ. Он скупал все билеты на премьеру выдающейся оперы — и сидел в зале один, с очередной любовницей. Он обнаружил великолепную пьесу неизвестного драматурга и заплатил ему огромную сумму, чтобы пьеса была исполнена один-единственный раз — и больше никогда. Винанд был единственным зрителем этого спектакля. На следующее утро пьеса была сожжена. Когда некая очень известная в обществе дама попросила его помочь важному благотворительному начинанию, Винанд протянул ей подписанный незаполненный чек и, смеясь, сознался, что сумма, которую она осмелится вписать, будет меньше, чем она получила бы иным путем. Он купил что-то вроде трона у промотавшегося претендента на престол одной из балканских стран, которого встретил в подпольном ресторане, и больше не желал его видеть; он часто употреблял фразу «мой слуга, мой шофер и мой король».

По ночам, надев потертый костюм, купленный за девять долларов, Винанд часто ездил в метро или бродил по пивным в районе трущоб, прислушиваясь к своим читателям.

Однажды в полуподвальной пивнушке он услышал, как водитель грузовика в весьма колоритных выражениях обличает Гейла Винанда — худшего представителя капиталистического зла. Винанд согласился с ним и поддержал его в собственных выражениях из словаря Адской Кухни. Потом подобрал «Знамя», оставленное кем-то на столе, вырвал из него собственную фотографию с третьей страницы, приколот к стодолларовой бумажке, протянул ее водителю грузовика и вышел до того, как кто-нибудь смог произнести хоть слово.

Смена его любовниц происходила так часто, что положила конец сплетням. Говорили, что он никогда не наслаждался с женщиной, предварительно не купив ее, но она должна была быть из тех, которые не продаются.

Он сохранял подробности своей личной жизни в тайне, делая свою жизнь широко известной. Он отдавал себя на суд толпы; он не был ничьей собственностью подобно статуе в парке, табличке автобусной остановки, страницам «Знамени». Его фотографии появлялись в его газетах чаще, чем фотографии кинозвезд. Его снимали в самой разной одежде, по всякому возможному поводу. Его никогда не фотографировали раздетым, но у читателей было такое чувство, будто они не раз видели его обнаженным. Он не извлекал никакого наслаждения из своей известности; это было делом политики, которой он подчинил себя. Каждый уголок его роскошной квартиры был представлен в его газетах и журналах. «Каждый негодяй в стране знает, что находится в моем холодильнике и в ванной», — говорил он.

Тем не менее, одна сторона его жизни была известна мало и никогда не упоминалась. Верхний этаж здания, под его квартирой, был частной художественной галереей. Он был закрыт. Туда не допускали никого, кроме уборщиц. Очень мало кто знал об этом. Однажды французский посол попросил разрешения посетить ее. Винанд отказал ему. Время от времени, но не часто он спускался в галерею и оставался там часами. Там все было собрано по его собственному вкусу. У него были и шедевры, и картины неизвестных мастеров; он отвергал произведения бессмертных гениев, если они оставляли его равнодушным. Оценки коллекционеров и подписи знаменитостей его не волновали. Галерейщики, которым он покровительствовал, говорили, что его суждения были суждениями настоящего знатока.

Однажды вечером слуга видел, как Винанд возвратился из своей галереи, и был поражен выражением его лица: на нем было написано страдание, и все же лицо казалось моложе на десять лет.

— Вы не больны, сэр? — спросил он.

Винанд безразлично взглянул на него и произнес:

— Идите спать.

— Мы можем сделать из твоей художественной галереи великолепный разворот для воскресного выпуска, — как-то мечтательно заметил Альва Скаррет.

— Нет, — отрезал Винанд.

— Но почему, Гейл?

— Послушай, Альва. У каждого человека есть собственная душа, которой никто не должен видеть. Даже у заключенных, даже у цирковых уродов. Никто, кроме меня самого. Моя душа разверстана в цвете в твоих воскресных выпусках. Поэтому у меня должно быть нечто ее заменяющее, хотя бы запертая комната с немногими предметами, которых никому нельзя лапать.

Это был долгий процесс, на который уже указывали некоторые сопутствующие явления, но Скаррет обратил внимание на новые черты в характере Винанда, только когда тому исполнилось сорок пять. Тогда же они стали видны многим. Винанд потерял интерес к борьбе с промышленниками и финансистами. Он нашел новую разновидность жертв. Нельзя было понять, спортивный ли это интерес, мания или последовательное стремление к какой-то цели. Полагали, что это ужасно, потому что выглядит бессмысленной жестокостью.

Началось с дела Дуайта Карсона. Дуайт Карсон, талантливый молодой писатель, заслужил безупречную репутацию как человек, страстно преданный своим убеждениям. Он боролся за права личности. Он писал в крупных журналах, имевших большой престиж и небольшой тираж и не представлявших угрозы для Винанда. Винанд купил Дуайта Карсона. Он заставил Карсона вести в «Знамени» рубрику, посвященную превосходству масс перед гениальной личностью. Это была скверная рубрика, нудная и неубедительная; многие читатели были разочарованы. Это было напрасной тратой газетной площади и денег. Винанд настоял, чтобы рубрика продолжалась.

Даже Альва Скаррет был шокирован тем, что Карсон предал свои идеалы.

— Любой другой, Гейл, — высказался он, — но честное слово, от Карсона я этого не ожидал.

Винанд рассмеялся. Он смеялся так долго, словно не мог остановиться, его смех был на грани истерики. Скаррет нахмурился: ему не понравился вид Винанда, не способного справиться с эмоциями; это противоречило всему, что он знал о Винанде. У Скаррета появилось смутное ощущение, будто он увидел маленькую трещинку в непробиваемой стене; трещинка, возможно, не могла угрожать стене — но она не имела права на существование.

Несколько месяцев спустя Винанд купил молодого писателя из радикального журнала, человека, известного своей честностью, и усадил его за серию статей, клеймящих массу и прославляющих людей исключительных. Это тоже не встретило понимания у рассерженных читателей. Но Винанд продолжал. Ему, казалось, были безразличны пока еще не очень явные признаки снижения тиража.

Он нанял чувствительного поэта для репортажей с бейсбольных матчей. Нанял искусствоведа вести колонку финансовых новостей. Поставил социалиста на защиту фабрикантов и консерватора — на защиту прав трудящихся. Заставил атеиста писать о красоте религиозного чувства. Вынудил серьезного ученого провозглашать преимущество мистической интуиции перед научными методами исследования. Он выплачивал знаменитому дирижеру симфонического оркестра щедрое годовое содержание при одном непременном условии; никогда не дирижировать.

Некоторые из этих людей отказывались — вначале. Но соглашались, обнаружив, что находятся на грани банкротства, к которому вела последовательность не выясненных до конца



обстоятельств. Некоторые из этих людей были знамениты, другие безвестны.

Винанд не проявлял интереса к положению своей будущей добычи. Как не проявлял интереса и к тем, чей шумный успех переходил на твердую коммерческую основу, — к людям, не имевшим твердых убеждений. Его жертвы имели одну роднившую их черту — незапятнанную честность.

После того как они были сломлены, Винанд скрупулезно продолжал платить им. Но более не чувствовал озабоченности их судьбами или желания увидеться с ними. Дуайт Карсон запил. Двое стали наркоманами. Один покончил с собой. Последний случай переполнил чашу терпения Скаррета.

— Не слишком ли далеко это заходит, Гейл? — спросил он. — Это же практически убийство.

— Вовсе нет, — ответил Винанд. — Я просто стал внешним толчком. Причина же была заложена в нем самом. Если молния ударит в гниющее дерево, оно рухнет, но это не вина молнии.

— Что же ты называешь здоровым деревом?

— Их просто не существует, Альва, — весело заявил Винанд, — их просто не существует.

Альва Скаррет больше никогда не просил у Винанда объяснений. Каким-то шестым чувством Скаррет почти угадал причину. Скаррет пожимал плечами и смеялся, объясняя своим собеседникам, что нет причин для беспокойства, это просто «предохранительный клапан». Только двое разгадали Гейла Винанда: Альва Скаррет — частично и Эллсворт Тухи — полностью.

Эллсворт Тухи, который в этот период хотел, прежде всего, избежать ссоры с Винандом, не смог сдержать недовольства, что Винанд не выбрал жертвой его. Он почти желал, чтобы Винанд попробовал подкупить его, неважно, что последует за этим. Но Винанд редко замечал его.

Винанд никогда не боялся смерти. Мысль о самоубийстве посещала его, но не как намерение, а лишь как одна из многих вероятностей человеческой судьбы. Он рассматривал эту возможность безразлично, с чувством вежливого любопытства, как рассматривал любую возможность, — а затем забывал. Винанду была знакома полная потеря сил, когда воля ему изменяла. Он всегда излечивался, проведя несколько часов в своей галерее.

Так он дожил до пятидесяти одного года и этого дня, когда не произошло ничего значительного, и все же вечер застиг его лишенным всяких желаний.

Гейл Винанд сидел на краю постели, слегка наклонившись вперед, локти его покоились на коленях, пистолет лежал на ладони.

«Да, — сказал он себе, — решение где-то здесь. Но я не хочу об этом знать».

И ощутив, что в основе желания не знать коренится приступ страха, он понял, что сегодня не умрет. Пока он еще чего-то боится, страх убережет его жизнь, даже если это означает лишь продвижение к неведомой катастрофе. Мысль о смерти не принесла ничего. Мысль о жизни принесла небольшую милостьню — намек на страх.

Он пошевелил рукой, ощутив вес пистолета. Улыбнулся чуть заметной разочарованной улыбкой: «Нет, это не для тебя. Еще не время. У тебя еще достаточно ума, чтобы не умирать бессмысленно».

Он отбросил пистолет, понимая, что момент прошел и это больше не угрожает ему. Встал. Радости он не испытывал, только усталость, но он уже вернулся к своему обычному состоянию. Сомнений больше не было, надо было заканчивать этот день и отправляться спать.

Он спустился в свой кабинет и достал бутылку.

Когда в кабинете зажегся свет, он заметил подарок Тухи. Это был большой вертикально стоящий ящик. Винанд уже видел его этим вечером. Он подумал тогда: «Что за черт» — и забыл

о нем.

Он налил себе и медленно пил стоя. Ящик был слишком велик, чтобы его можно было не замечать, и, пока пил, он пытался угадать, что бы там могло быть. Он был не в состоянии вообразить, что, собственно, Тухи мог ему послать; он ожидал чего-нибудь не столь существенного — небольшого конверта с намеком на шантаж; многие уже пытались совершенно безуспешно шантажировать его; он подумал, что у Тухи могло бы хватить ума понять это.

К тому времени, когда стакан опустел, он не пришел к какой-то разумной догадке. Это его раздражало, как не поддающийся решению кроссворд. Где-то в его столе хранились инструменты. Он нашел их и вскрыл ящик.

Это была статуя Доминик Франкон, изваянная Мэллори.

Гейл Винаид подошел к своему столу и положил клещи, которые держал так, будто они сделаны из хрупкого стекла. Затем повернулся и вновь оглядел статую. Он смотрел на нее около часа.

Затем подошел к телефону и набрал номер Тухи.

— Алло? — послышался голос, хрипящая торопливость которого свидетельствовала о том, что Тухи подняли с постели.

— Ладно. Приходите, — сказал Винаид и повесил трубку.

Тухи приехал спустя полчаса. Это был его первый визит в дом Винанда. Он позвонил, и ему открыл сам Винаид, все еще в пижаме. Он не сказал ни слова и направился в кабинет; Тухи последовал за ним.

Обнаженное мраморное тело с откинутой назад в порыве страсти головой превращало комнату в храм, которого уже не существовало, — храм Стоддарда. Глаза Винанда, в глубине которых таилась сдерживаемая ярость, выжидающе смотрели на Тухи.

— Вы хотите, конечно, узнать имя натурщицы? — спросил Тухи, и в голосе его прозвучала победная нотка.

— Черт возьми, нет! — взорвался Винаид. — Я хочу узнать имя скульптора.

Его удивило, почему Тухи не понравился вопрос; что-то большее, чем досада, отразилось на лице Тухи.

— Скульптора? — переспросил Тухи. — Минутку... обождите... Я полагаю, что знал его... Стивен... или Стенли... Стенли и еще что-то... Честно говоря, не помню.

— Если вы знали, что покупаете, вы знали достаточно, чтобы спросить имя и не забывать его.

— Я наведу справки, мистер Винаид.

— Где вы ее достали?

— В одной художественной лавочке, знаете, из тех, на Второй авеню.

— Как она туда попала?

— Не знаю. Не спрашивал. Я купил, потому что знаю, кого она изображает.

— Вы лжете. Если бы вы увидели в ней только это, то не стали бы так рисковать. Вы знаете, что я никого не впускаю в свою галерею. У вас хватило наглости подумать, что я позволю вам пополнить ее? Никто еще не осмеливался предлагать мне такого рода подарок. И вы бы не стали рисковать, если бы не были уверены, абсолютно уверены, насколько ценно это произведение искусства. Уверены, что я не смогу не принять его. Что вы меня переиграете. И вы своего добились.

— Рад слышать это, мистер Винаид.

— Если вы хотите порадоваться, должен также сказать, что мне противно, что это пришло от вас. Противно, что вы оказались в состоянии оценить это. Это совсем на вас не похоже. Хотя я был явно не прав в отношении вас: вы оказались большим специалистом, чем я думал.

— В таком случае я вынужден принять ваши слова как комплимент и поблагодарить вас, мистер Винанд.

— А теперь — чего же вы хотели? Чтобы я уразумел, что вы не отдадите мне это, если я не соглашусь на свидание с миссис Питер Китинг?

— Господи, нет, мистер Винанд. Я вам это подарил. Я хотел только, чтобы вы уразумели, что это — миссис Питер Китинг.

Винанд посмотрел на статую, затем вновь на Тухи.

— Ну вы и идиот! — мягко произнес Винанд. Тухи, пораженный, уставился на него. — Неужели вы действительно использовали это как красный фонарь в окне? — Казалось, Винанд испытал облегчение; он уже не считал нужным смотреть на Тухи. — Так-то лучше, Тухи. Не так уж вы умны, как я было подумал.

— Но, мистер Винанд, что?..

— Неужели вы не поняли, что эта статуя — самый верный способ убить любое желание, которое я мог бы испытать по отношению к миссис Китинг?

— Вы ее не видели, мистер Винанд.

— О, вероятно, она красива. Возможно, еще более красива, чем ее статуя. Но она не может обладать тем, что вложил в нее скульптор. А то же лицо, лишённое значительности, подобно карикатуре — вы не думаете, что за это можно возненавидеть женщину?

— Вы ее не видели.

— А, ладно, увижу. Я уже сказал, что должен либо сразу простить вам вашу проделку, либо не простить. Ведь я не обещал, что пересплю с ней. Не так ли? Только увижусь.

— Только этого я и хотел, мистер Винанд.

— Пусть она позвонит мне в приемную и согласует время.

— Спасибо, мистер Винанд.

— Кроме того, вы лжете, что не знаете имени скульптора. Но мне лень заставлять вас его называть. Она мне его назовет.

— Уверен, что она назовет. Но зачем мне лгать?

— Бог знает. Кстати, если скульптор оказался бы менее значительным, вы потеряли бы работу.

— Все же, мистер Винанд, у меня контракт.

— О, оставьте его для профсоюза, Элси! А теперь, полагаю, вы пожелаете мне спокойной ночи и уберетесь.

— Да, мистер Винанд. Желаю вам спокойной ночи.

Винанд проводил его в холл. У двери Винанд сказал:

— Вы плохой бизнесмен, Тухи. Не знаю, почему вы так стараетесь, чтобы я встретился с миссис Китинг. Не знаю, что заставляет вас добиваться подряда для вашего Китинга. Но в любом случае это не стоит того, чтобы расставаться с такой вещью.

— Почему ты не носишь свой браслет с изумрудами? — спросил Питер Китинг. — Так называемая невеста Гордона Прескотта заставила всех разинуть рот от изумления своим звездным сапфиром.

— Извини, Питер. Я надену его в следующий раз, — ответила Доминик.

— Это был чудесный вечер. Тебе было интересно?

— Мне всегда интересно.

— Мне тоже... только... О Господи, хочешь узнать правду?

— Нет.

— Доминик, я смертельно скучал. Винсент Ноултон — страшная зануда. Чертов сноб. Не переносу его. — И осторожно прибавил: — Но ведь я этого не показал?

— Нет. Ты очень хорошо себя вел. Смеялся всем его шуткам — даже когда никто не смеялся.

— А, ты заметила? Это всегда срabатывает.

— Да, я заметила.

— Ты считаешь, что не следовало этого делать?

— Я этого не говорила.

— Ты считаешь, что это... низко?

— Я ничего не считаю низким.

Он глубже забился в кресло, подбородок при этом неудобно прижался к груди, но ему не хотелось двигаться. В камине горел огонь. Он выключил все освещение, кроме лампы с желтым шелковым абажуром. Но это не принесло внутреннего успокоения, лишь придало помещению нежилой вид пустой квартиры с отключенным освещением и водой. Доминик сидела в другом конце комнаты, ее стройное тело послушно приняло очертания стула с прямой спинкой; поза не казалась напряженной, скорее неудобной. Они были одни, но она сидела как леди, выполняющая общественные обязанности, как прекрасно одетый манекен в витрине расположенного на оживленном перекрестке магазина.

Они вернулись с чаепития в доме Винсента Ноултона, молодого преуспевающего светского льва, нового приятеля Питера Китинга. Они спокойно поужинали вдвоем, и теперь у них был свободный вечер. Никаких светских обязанностей до завтра не предвиделось.

— Наверно, не стоило смеяться над теософией, разговаривая с миссис Марш, — произнес он. — Она в нее верит.

— Извини, я буду осторожнее.

Он ждал, когда она выберет предмет для разговора. Она молчала. Он вдруг подумал, что она никогда не заговаривала с ним первой — за все двадцать месяцев их супружеской жизни. Он сказал себе, что это смешно и невозможно; он попытался вызвать в памяти хоть один случай, когда она обратилась бы к нему. Конечно же, обращалась; он вспомнил, как она спросила: «Когда ты сегодня вернешься?» и «Хочешь ли ты включить Диксонов в список гостей во вторник?» — и многое другое вроде этого.

Он посмотрел на нее. Она не выглядела скучающей или не желающей замечать его. Вот она сидит, бодрая и внимательная, как будто быть с ним — все, что ей нужно; она не принялась за книгу, не углубилась в собственные мысли. Она смотрит прямо на него, не мимо него, как бы ожидая, когда он заговорит. Она всегда смотрела прямо на него, как сейчас; только сегодня он задумался над тем, нравится ли ему это. Нет, пожалуй, не совсем, это не позволяло увильнуть в сторону ни тому, ни другому.

— Я только что закончил «Доблестный камень в мочевом пузыре», — начал он. — Прекрасная книга. Создание искрящегося гения, злой дух, обливающийся слезами, клоун с золотым сердцем, водрузившийся на миг на трон Господа Бога.

— Я читала эту рецензию в воскресном номере «Знамени».

— Я читал саму книгу. Ты же знаешь.

— Как мило с твоей стороны.

— Угу? — Он услышал одобрение в ее голосе и был польщен.

— Очень любезно по отношению к автору. Я уверена, что ей нравятся люди, которые читают ее книги. Очень мило, что ты потратил на нее время, заранее зная, что должен думать о книге.

— Я не знал. Но оказалось, что я согласен с автором статьи.

— В «Знамени» работают настоящие профессионалы.

— Это верно. Конечно. Так что ничего страшного, если я с ними согласен.

— Конечно, ничего. Я всегда соглашаюсь.

— С кем?

— Со всеми.

— Ты смеешься надо мной, Доминик?

— Разве ты дал повод?

— Нет. Не вижу, каким образом. Нет, конечно, не давал.

— Тогда я не смеюсь.

Китинг помолчал. Он услышал проезжавший внизу по улице грузовик, эти звуки заполнили несколько секунд, а когда они смолкли, заговорил вновь:

— Доминик, мне хочется знать, что ты думаешь.

— О чем?

— О... о... — Он искал что-нибудь позначительнее и закончил: — О Винсенте Ноултоне.

— Я считаю, он человек вполне достойный того, чтобы целовать его зад.

— Ради Бога, Доминик!

— Извини. Скверный английский и скверные манеры. Это, конечно, не так. Ну что ж, скажем так: Винсент Ноултон — человек, с которым приятно поддерживать знакомство. Старые семьи заслуживают того, чтобы к ним относились с большим почтением, и мы должны проявлять терпимость к мнениям других, потому что терпимость — одна из величайших добродетелей, и было бы нечестным навязывать свое мнение о Винсенте Ноултоне, а если ты дашь ему понять, что он тебе нравится, он будет рад помочь тебе, потому что он очень милый человек.

— Ну вот, теперь это на что-то похоже, — сказал Китинг. Он чувствовал себя как дома в привычном стиле разговора. — Я полагаю, что терпимость — вещь очень важная, потому что... — Он помолчал. И закончил без всякого выражения: — Ты сказала точно то же самое, что и раньше.

— Так ты заметил, — сказала она. Она произнесла это равнодушно, просто как факт. В ее голосе не было иронии, хотя ему этого хотелось бы, ведь ирония подтверждала бы признание его личности, желание уязвить его. Но в ее голосе никогда не было личных ноток, связанных с ним, — за все двадцать месяцев.

Он посмотрел на огонь в камине. Вот что делает человека счастливым — сидеть и мечтательно смотреть на огонь — у своего собственного камина, в своем собственном доме; это было то, о чем он всегда слышал и читал. Он смотрел, не мигая, на пламя, стараясь проникнуться установленной истиной. «Пройдет еще минута этого покоя, и я почувствую себя счастливым», — подумал он сосредоточиваясь. Но ничего не произошло.

Он подумал о том, как убедительно мог бы описать эту сцену друзьям, заставив их позавидовать полноте его счастья. Почему же он не мог убедить в этом себя? У него было все, чего он когда-либо желал. Он хотел главенствовать — и вот уже целый год являлся непререкаемым авторитетом в своей профессии. Он хотел славы — и у него уже накопилось пять толстенных томов посвященных ему публикаций. Он хотел богатства — и у него уже достаточно денег, чтобы обеспечить себе жизнь в роскоши. Сколько людей боролось и страдало, чтобы добиться того, чего он уже достиг? Сколько мечтали, истекали кровью и погибали, так ничего и не достигнув? «Питер Китинг — самый счастливый парень на свете». Сколько раз он слышал это?

Последний год был лучшим в его жизни. К тому, чем владел, он прибавил невозможное — Доминик Франкон. Было так приятно небрежно рассмеяться, когда друзья повторяли: «Питер, как это тебе удалось?» Было настоящим наслаждением, представляя ее, легко бросить: «моя супруга» и увидеть глупый, безотчетный блеск зависти в глазах. Однажды на большом приеме какой-то подвыпивший элегантный тип, подмигнув, спросил его, не в силах скрыть своих намерений:

— Послушай, ты не знаком с той роскошной женщиной?

— Немного, — с удовлетворением ответил Питер, — это моя жена.

Он часто благодарно повторял себе, что их брак оказался намного удачнее, чем он предполагал. Доминик стала идеальной женой. Она полностью посвятила себя его интересам: делала все, чтобы нравиться его клиентам, развлекала его друзей, вела его хозяйство. Она ничего не изменила в его упорядоченной жизни: ни рабочего расписания, ни меню, даже обстановки. Она ничего не принесла с собой — только свою одежду; она не прибавила ни единой книги, даже пепельницы. Когда он высказывал свое мнение о чем-либо, она не спорила, она соглашалась с ним. Она охотно, как будто так и должно быть, растворялась в его заботах.

Он ожидал смерча, который поднимет его на воздух и разобьет о неведомые скалы. И не обнаружил даже ручейка, впадающего в мирные воды его жизни. Словно кто-то пришел и спокойно опустил в ее плавно текущие воды; нет, это было даже не плавание — действие активное и требующее усилий, а следование за ним по течению. Если бы ему была дана власть определять, как должна вести себя Доминик после свадьбы, он бы потребовал, чтобы она вела себя так, как сейчас.

Только ночи оставляли его в неприятной неудовлетворенности. Она отдавалась, когда ему этого хотелось. Но все было как в их первую ночь: в его руках была безразличная плоть, Доминик не выказывала отвращения, но и не отвечала ему. С ним она все еще оставалась девственницей: он никак не мог заставить ее что-то почувствовать. Каждый раз, терзаясь оскорбленным самолюбием, он решал больше не прикасаться к ней. Но желание возвращалось, возбужденное постоянным лицемерием ее красоты. И он отдавался ему, когда не мог сопротивляться, но не часто.

То, в чем он не смел себе признаться, если говорить об их совместной жизни, было высказано его матерью:

— Я не могу этого вынести, — сказала она спустя полгода после их свадьбы. — Если бы она разозлилась, обругала меня, бросила в меня чем-то, все было бы в порядке. Но этого я не могу вынести.

— Чего, мама? — спросил он, чувствуя, как в нем поднимается холодок начинающейся паники.

— А, что толку говорить, Питер, — ответила она.

Мать, поток доказательств, мнений, упреков которой он обычно не мог остановить, больше ни слова не проронила об их женитьбе. Она сняла для себя маленькую квартирку и покинула его

дом. Она часто приходила навестить его и была вежлива с Доминик, принимая какой-то странно побитый и смиренный вид. Он сказал себе, что должен, вероятно, радоваться, освободившись от матери, но не испытывал радости.

Кроме того, он не мог понять, каким образом Доминик пробуждала в нем безотчетный страх. Он не находил ни слова, ни жеста, которыми мог бы упрекнуть ее. Но все двадцать месяцев было так же, как сегодня: ему было тяжело с ней наедине — и все же он не хотел уйти от нее, а она не выражала желания избегать его.

— Сегодня уже никто не придет? — спросил он ровным голосом, отворачиваясь от камина.

— Нет, — ответила она и улыбнулась, ее улыбка как бы предварила слова: — Может быть, оставить тебя одного, Питер?

— Нет! — Это прозвучало почти как крик. И, продолжив ответ, он подумал: «Нельзя, чтобы это выглядело так отчаянно». — Конечно, нет! Я рад провести этот вечер наедине со своей женой.

Неясный внутренний голос говорил ему, что он должен решить эту проблему, должен научиться не тяготиться в ее обществе, не избегать ее — в первую очередь ради себя самого.

— Чем бы ты хотела сегодня заняться, Доминик?

— Всем, чего ты хочешь.

— Хочешь в кино?

— А ты?

— О, не знаю. Это помогает убить время.

— Прекрасно, давай убивать время.

— Нет. Зачем? Это звучит ужасно.

— Разве?

— Зачем нам бежать из своего дома? Давай останемся.

— Да, Питер.

Он помолчал. «Но и молчание, — подумал он, — это тоже бегство, его наиболее скверный вариант».

— Хочешь сыграть в «Русский банк»? — спросил он.

— Тебе нравится «Русский банк»?

— О, это убивает вре... — Он остановился. Она улыбнулась. — Доминик. — Он смотрел на нее. — Ты так красива. Ты всегда так... так восхитительно красива. Мне все время хочется сказать тебе, что я чувствую, глядя на тебя.

— Мне нравится знать, что ты чувствуешь, глядя на меня, Питер.

— Я люблю смотреть на тебя. Всегда вспоминаю при этом слова Гордона Прескотта. Он сказал, что ты совершенное упражнение Господа Бога в структурной математике. А Винсент Ноултон говорил, что ты — весеннее утро. А Элсворт... Элсворт сказал, что ты — упрек любой другой женщине на свете.

— А Ралстон Холкомб? — спросила она.

— А, не имеет значения! — оборвал он себя и снова повернулся к камину.

«Я знаю, почему мне так тяжело молчание, — подумал он. — Потому что ей все равно, молчу я или говорю; как будто я не существую и никогда не существовал... это еще страшнее, чем смерть, — никогда не родиться...» Он внезапно почувствовал отчаянное желание, которого и сам не мог четко объяснить, — желание стать для нее осязаемым.

— Доминик, знаешь, о чем я думаю? — с надеждой спросил он.

— Нет, о чем же ты думаешь?

— Я уже не раз задумывался об этом — и никому не говорил. И никто не знает. Это моя мечта.

— Боже, это же великолепно. И что это такое?

— Мне хотелось бы переехать за город, построить дом только для нас.

— Мне это очень нравится. Как и тебе. Ты хочешь сам спроектировать дом для себя?

— Черт возьми, нет же. Беннет быстро отстроил бы его для меня. Он проектирует все загородные дома. Он настоящий волшебник в таких делах.

— Ты хотел бы каждый день ездить в город на работу?

— Нет, я думаю, это было бы страшно неудобно. Сейчас все, кто что-то собой представляет, живут в пригороде. Я всегда чувствую себя чертовым пролетарием, когда сообщаю кому-то, что живу в городе.

— Тебе хотелось бы видеть вокруг себя деревья, сад и землю?

— О, это же все чепуха. У меня нет на это времени. Дерево

— это только дерево. Когда видишь на экране лес весной, уже видишь все.

— Тебе хотелось бы поработать в саду? Говорят, это прекрасно

— самому обрабатывать землю.

— Господи, да нет же! Какая, по-твоему, у нас будет земля? Мы можем позволить себе садовника, и хорошего. И тогда все соседи позавидуют нашему участку.

— Тебе хотелось бы заняться спортом?

— Да. Мне нравится эта идея.

— И каким же?

— Думаю, мне стоило бы заняться гольфом. Знаешь, когда ты член загородного клуба и тебя считают одним из уважаемых граждан в округе, это совсем не то, что поездки время от времени на уикэнд. И люди, с которыми встречаешься, тоже совсем другие. Классом выше. И отношения, которые ты завязываешь... — Он спохватился и раздраженно добавил: — И еще я занялся бы верховой ездой.

— Мне нравится верховая езда, а тебе?

— У меня никогда не было для этого времени. Ну и потом, при этом немилосердно трясутся все внутренности. Но кто, черт возьми, такой Гордон Прескотт? Считает себя единственным настоящим мужчиной, наляпал свои фотографии в костюме для верховой езды у себя в приемной.

— Я полагаю, тебе хочется найти и какое-то уединение?

— Ну, вообще-то я не особенно верю в болтовню о необитаемых островах. Я думаю, что дом следует строить поблизости от большой дороги, и люди могли бы, понимаешь, показывать на него, как на владение Китинга. Кто, черт возьми, такой Клод Штенгель, чтобы иметь загородный дом, в то время как я снимаю квартиру? Он начал практически тогда же, когда и я, а посмотри, где теперь он и где я. Господи, да он должен быть счастлив, если о нем слышали два с половиной человека, так почему же он должен жить в Уэстчестере<sup>[4]</sup> и...

И он умолк. Она со спокойным выражением лица наблюдала за ним.

— О, черт подери все это! — вскричал он. — Если ты не хочешь переезжать за город, почему не сказать прямо?

— Я хочу делать то, чего хочешь ты, Питер. Следовать тому, что ты задумал.

Он надолго замолчал, потом спросил, не сумев сдержаться:

— Что мы делаем завтра вечером?

Она поднялась, подошла к столу и взяла свой календарь.

— Завтра вечером мы пригласили на ужин Палмеров, — сказала она.

— О Господи! — простонал он. — Они ужасные зануды! Почему мы должны их приглашать?

Она стояла, держа кончиками пальцев календарь. Как будто сама была фотографией из



этого календаря и в глубине его расплывалось ее собственное изображение.

— Мы должны пригласить Палмеров, — сказала она, — чтобы получить подряд на строительство их нового универмага. Мы должны получить этот подряд, чтобы пригласить Эддингтонов на обед в субботу. Эддингтоны не дадут нам подряда, но они упомянуты в «Светском альманахе». Палмеры тебя утомляют, а Эддингтоны воротят от тебя нос. Но ты должен льстить людям, которых презираешь, чтобы произвести впечатление на людей, которые презирают тебя.

— Зачем ты говоришь мне подобные вещи?

— Тебе бы хотелось взглянуть на этот календарь, Питер?

— Но это все делают. Ради этого все и живут.

— Да, Питер. Почти все.

— Если тебе это не по душе, почему не сказать прямо?

— Разве я сказала, что мне что-то не по душе?

Он подумал.

— Нет, — согласился он. — Нет, ты не говорила. Но дала понять.

— Ты хотел бы, чтобы я говорила об этом более сложными словами, как о Винсенте Ноултоне?

— Я бы... — И он закричал: — Я бы хотел, чтобы ты выразила свое мнение, черт возьми, хоть раз!

Она спросила все так же монотонно:

— Чье мнение, Питер? Гордона Прескотта? Ралстона Холкомба? Эллсворта Тухи?

Он повернулся к ней, опершись о ручку кресла, слегка приподнявшись и напрягшись. То, что стояло между ними, начало обретать форму. Он почувствовал, что в нем рождаются слова, чтобы назвать это.

— Доминик, — начал он нежно и убеждающе, — вот оно. Теперь я знаю. Я понял, что между нами происходит.

— И что же между нами происходит?

— Подожди. Это страшно важно. Доминик, ты же ни разу не говорила, ни разу, о чем думаешь. Ни о чем. Ты никогда не выражала желания. Никакого.

— Ну и что здесь плохого?

— Но это же... Это же как смерть. Ты какая-то ненастоящая. Только тело. Послушай, Доминик, ты не понимаешь, и я хочу тебе объяснить. Ты знаешь, что такое смерть? Когда тело больше не двигается, когда ничего нет... ни воли, ни смысла. Понимаешь? Ничего. Абсолютно ничего. Так вот, твое тело двигается — но это все. О, не пойми меня превратно. Я не говорю о религии, просто для этого нет другого слова, поэтому я скажу: твоя душа... твоей души не существует. Ни воли, ни смысла. Тебя, настоящей, больше нет.

— Что же это такое — я настоящая? — спросила она. Впервые она проявила заинтересованность, не возразила, нет, но, по крайней мере, заинтересовалась.

— А что настоящее в человеке? — начал он ободренно. — Не просто тело. Это... это душа.

— А что такое душа?

— Это ты. Все, что внутри тебя.

— То, что думает, оценивает и принимает решения?

— Да! Да, именно это. И то, что чувствует. Ты же... ты от нее отказалась.

— Значит, есть две вещи, от которых нельзя отказываться: собственные мысли и собственные желания?

— Да! О, ты все понимаешь! Ты понимаешь, что ты подобна пустой оболочке для тех, кто тебя окружает. Своего рода смерть. Это хуже любого преступления. Это...

— Отрицание?

— Да, просто чистое отрицание. Тебя здесь нет. Тебя здесь никогда не было. Если бы ты сказала, что занавески в этой комнате ужасны, если бы ты их сорвала и повесила те, что тебе нравятся, что-то в тебе было бы настоящим, было бы здесь, в этой комнате. Но ты никогда ничего подобного не делала. Ты никогда не говорила повару, какой десерт хотела бы к обеду. Тебя здесь нет, Доминик. Ты не живая. Где же твое Я?

— А твое, Питер? — спокойно спросила она.

Он замер, вытаращив глаза. Она знала, что его мысли в этот момент были чисты, непосредственны и наполнены зрительными ощущениями, что сам процесс размышления заключался в реальном видении тех лет, которые проходили перед его духовным взором.

— Это неправда, — произнес он наконец глухим голосом. — Это неправда.

— Что неправда?

— То, что ты сказала.

— Я ничего не сказала. Я задала тебе вопрос.

Его глаза молили ее продолжать, отрицать. Она поднялась и встала перед ним, напряженность ее тела свидетельствовала о жизни, жизни, которую он пропустил и о которой молил; в ней было еще одно качество — присутствие цели, но ее целью было судить.

— Ты начинаешь понимать, не так ли, Питер? Мне следует объяснить тебе получше. Ты никогда не хотел, чтобы я была настоящей. Ты никогда не хотел ничего настоящего. Но и не хотел, чтобы я показала это тебе, ты хотел, чтобы я играла роль и помогала тебе играть свою — прекрасную, сложную роль, состоящую из словесных украшений, ухищрений и просто слов. Одних слов. Тебе не понравилось то, что я сказала о Винсенте Ноултоне. Тебе понравилось, когда я сказала то же самое, но облекла это в покров добродетельных штампов. Ты не хотел, чтобы я верила. Ты хотел только, чтобы я убедила тебя, что поверила. Моя настоящая душа, Питер? Она настоящая, только когда независима, — ты ведь понял это? Она настоящая, только когда выбирает занавеси и десерт, тут ты прав — занавеси, десерт, религия, Питер, и формы зданий. Но тебе это никогда не было нужно. Ты хотел зеркал. Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала. Чтобы отражать и отражаться. Знаешь, как бессмысленная бесконечность, в которую вступаешь в узком зеркальном коридоре. Так бывает в очень вульгарных гостиницах. Отражение отражений, эхо эха. Без начала и без конца. Без источника и цели. Я дала тебе то, что ты хотел. Я стала такой, как ты, как твои друзья, какой так старается быть большая часть человечества, — только без всяких прикрас. Я не ходила вокруг да около, довольствуясь книжными обозрениями, чтобы скрыть пустоту собственных суждений, я говорила: у меня нет мнения. Я не заимствовала чертежей, чтобы скрыть свое творческое бессилие, я ничего не создавала. Я не говорила, что равенство — благородная цель, а объединение — главная задача человечества. Я просто соглашалась со всеми. Ты называешь это смертью, Питер? Но я бы переадресовала это заявление тебе и каждому вокруг нас. Но ты, ты этого не делал. Людям с тобой удобно, ты им нравишься, они радуются твоему присутствию. Ты спасаешь их от неминуемой смерти. Потому что ты возложил эту роль на себя.

Он ничего не произнес. Она отошла от него и вновь села в ожидании.

Он поднялся, шагнул к ней:

— Доминик... — И вот он уже на коленях перед ней, приник к ней, зарываясь головой в ее платье. — Доминик, это неправда... неправда, что я никогда не любил тебя. Я люблю тебя, всегда любил, это не было... просто чтобы похвастаться перед другими, это совсем не так. Я любил тебя. На свете есть только два человека — ты и еще один, мужчина, кто всегда заставлял меня почувствовать то же самое, это не совсем страх, скорее стена, голая стена, на которую надо забраться, приказ подняться — не знаю куда... Но это чувство возникало... я всегда ненавидел

этого человека... но тебя, я хотел тебя всегда... вот почему я женился на тебе, хотя знал, что ты презираешь меня. Ты должна простить мне эту женитьбу, ты не должна мстить мне таким образом... не таким образом, Доминик, я же могу не ответить, я...

— Кто этот человек, которого ты ненавидишь, Питер?

— Это неважно.

— Кто он?

— Никто, я...

— Назови его.

— Говард Рорк.

Она долго молчала. Потом положила руку ему на голову. Этот жест напоминал нежность.

— Я никогда не хотела мстить тебе, Питер, — мягко произнесла она.

— Тогда почему?

— Я вышла за тебя замуж по собственным мотивам. Я действовала, как требует от человека современный мир. Только я ничего не могу делать наполовину. Те, кто может, скрывают внутри трещину. У большинства людей их много. Они лгут самим себе, не зная этого. Я никогда не лгала себе. Поэтому я должна была делать то, что все вы делаете, — только последовательно и полно. Вероятно, я тебя погубила. Если бы это не было мне безразлично, я сказала бы, что мне жаль. Это не было моей целью.

— Доминик, я тебя люблю. Но я боюсь, потому что ты что-то изменила во мне, уже со дня нашей свадьбы, когда я сказал тебе «да»; и даже если потеряю тебя, я не могу вернуться в прежнее состояние — ты взяла у меня что-то, что у меня было.

— Нет. Я взяла что-то, чего у тебя никогда не было. Уверю тебя, это хуже.

— Что?

— Говорят, худшее, что можно сделать с человеком, — это убить в нем самоуважение. Но это неправда. Самоуважение убить нельзя. Гораздо страшнее убить претензии на самоуважение.

— Доминик, я... я не хочу говорить.

Она опустила взгляд на его лицо, и он увидел в ее глазах жалость и сразу понял, какая страшная вещь — настоящая жалость, но это знание тотчас и ушло, потому что он захлопнул двери своего сознания для слов, которыми мог бы его сохранить.

Она наклонилась и поцеловала его в лоб. Это был первый поцелуй, который она ему подарила.

— Я не хочу, чтобы ты страдал, Питер, — нежно сказала она. — То, что происходит сейчас, — настоящее, это я — и мои собственные слова. Я не хочу, чтобы ты страдал; ничего другого я почувствовать не могу, но это я чувствую очень глубоко.

Он прижался губами к ее руке.

Когда он поднял голову, она какое-то мгновение смотрела на него так, будто он был ее мужем. Она сказала:

— Питер, если бы ты мог всегда быть таким... тем, кто ты сейчас...

— Я люблю тебя, — сказал он.

Они долго сидели и молчали. Он не чувствовал напряженности в этом молчании.

Зазвонил телефон.

Но не звонок нарушил наступившее было взаимопонимание; его нарушила та радость, с которой Китинг вскочил и побежал к телефону. Она слышала его голос через открытую дверь — голос, в котором звучало почти неприличное облегчение.

— Алло?.. О, Эллсворт!.. Нет, ничего... свободен как жаворонок. Конечно, приходи, приходи прямо сейчас... Жду!

— Это Эллсворт, — объяснил он, вернувшись в гостиную. В голосе его звучали радость и

нахальство. — Он хочет заглянуть к нам.

Она промолчала.

Он занялся пепельницами, в которых были лишь спичка или окурок; собрал газеты, подкинул в камин полено, которое было совсем не нужно, включил свет. Он насвистывал мелодию из только что вышедшей на экран оперетты.

Услышав звонок, он побежал открывать.

— Как мило, — произнес Тухи входя. — Огонь в камине, и вы только вдвоем. Привет, Доминик. Надеюсь, я не очень не вовремя.

— Привет, Эллсворт, — ответила она.

— Ты всегда вовремя, — сказал Китинг. — Не могу выразить, как я рад, что вижу тебя. — Он подвинул стул к огню. — Усаживайся, Эллсворт. Что будешь пить? Знаешь, когда я услышал твой голос по телефону... мне захотелось прыгать и твюкать, как щенку.

— Однако не стоит вилять хвостом, — заметил Тухи. — Нет, я ничего не буду, спасибо. А как ты, Доминик?

— Как и год назад, — ответила она.

— Но не как два года назад?

— Нет.

— А что мы делали в это время два года назад? — беспечно спросил Китинг.

— Вы не были женаты, — пояснил Тухи. — Доисторический период. Подождите... что же тогда было? Думаю, что был только что достроен храм Стоддарда.

— А... — протянул Китинг. Тухи спросил:

— Ты слышал что-нибудь о своем приятеле Рорке, Питер?

— Нет. По-моему, он не работает уже год или больше. На этот раз с ним покончено.

— Да, и я так думаю... Что же ты подельывал, Питер?

— Ничего особенного... А, я только что прочел «Доблестный камень в мочевом пузыре».

— Понравилось?

— Да! Знаешь, я думаю, это очень важная книга. Ведь это правда, что свободной воли как таковой не существует. Мы не можем изменить ни самих себя, ни того, чем занимаемся. Это не наша вина. Никого нельзя ни в чем винить. Все это заложено в нашем происхождении и... и в наших железах. Если ты добр, это не твоя заслуга — тебе повезло с железами. Если ты мерзавец, никто не может тебя наказать — просто тебе не повезло, вот и все. — Он проговорил это с вызовом, с горячностью, не соответствующей литературной дискуссии. Он не смотрел на Тухи и Доминик.

— По существу правильно, — подтвердил Тухи. — Но тем не менее, если обратиться к логике, не следует думать о наказании мерзавцев. Они претерпели не за свою вину, они несчастны и недостаточно одарены и, вероятно, заслуживают какой-то компенсации, даже вознаграждения.

— Господи... да! — вскричал Китинг. — Это... это логично.

— И справедливо, — добавил Тухи.

— Ты широко пользуешься «Знаменем», когда тебе это нужно, Эллсворт? — спросила Доминик.

— Это ты о чем?

— О «Доблестном камне в мочевом пузыре».

— А... Нет, не могу сказать, что пользуюсь. Не совсем. Всегда находятся такие, кто не может оценить.

— О чем вы толкуете? — спросил Китинг.

— Профессиональный треп, — сказал Тухи. Он протянул руки к огню, игриво сгибая

пальцы. — Кстати, Питер, ты что-нибудь предпринимаешь насчет Стоунриджа?

— Черт бы его подрал, — в сердцах сказал Китинг.

— А в чем дело?

— Ты знаешь, в чем дело. Ты знаешь этого ублюдка лучше, чем я. Такой проект сейчас, когда он как манна небесная, и чтобы им распорядился этот сукин сын Винанд!

— А чем плох мистер Винанд?

— О, оставь, Эллсворт! Ты же отлично знаешь, что, если бы на его месте был кто-нибудь другой, я получил бы этот подряд просто так. — Он щелкнул пальцами. — Мне не надо было бы даже спрашивать, заказчики сами пришли бы ко мне. Особенно если бы знали, что такой архитектор, как я, сидит практически на бобах, учитывая, как могла бы работать наша контора. Но мистер Гейл Винанд! Можно подумать, он святейший лама и его может осквернить воздух, которым дышат архитекторы!

— Я полагаю, ты пытался?

— Ох, не надо об этом. Меня мутит от этого. Я думаю, что потратил долларов триста, чтобы накормить обедами и напоить всякую шушера, которая заверяла, что может устроить свидание с ним. А получил только похмелье. Думаю, легче встретиться с Папой Римским.

— Полагаю, ты хочешь получить Стоунридж?

— Ты что, дразнишь меня, Эллсворт? Да я отдал бы за это свою правую руку.

— Вряд ли это было бы разумно. Тогда ты не смог бы выполнить ни одного чертежа или даже сделать вид. Предпочтительнее отделаться чем-нибудь менее уязвимым.

— Я отдал бы свою душу.

— Отдал бы, Питер? — спросила Доминик.

— Что ты задумал, Эллсворт? — резко сказал Китинг.

— Всего лишь практическое предположение, — ответил Тухи. — Кто был твоим самым эффективным поставщиком, кому ты обязан своими лучшими подрядами в прошлом?

— Господи, полагаю, что Доминик.

— Правильно. А раз ты не можешь попасть к Винанду, и вряд ли тебе это помогло бы, даже если бы ты добился свидания, не считаешь ли ты, что Доминик как раз тот человек, который мог бы убедить его?

Китинг уставился на него:

— Ты с ума сошел, Эллсворт?

Доминик подалась вперед. Казалось, ее это заинтересовало.

— Насколько я слышала, — включилась она в разговор, — Гейл Винанд не оказывает любезность женщинам, если они не красивы. А если красивы, то это уже не просто любезность.

Тухи посмотрел на нее, подчеркивая взглядом, что не отрицает сказанного.

— Какая глупость! — взорвался Китинг. — Каким образом Доминик сможет увидаться с ним?

— Позвонив к нему в контору и договорившись о встрече, — объяснил Тухи.

— А кто тебе сказал, что он согласится?

— Он и сказал.

— Когда?!

— Вчера поздно вечером. Точнее, сегодня рано утром.

— Эллсворт! — выдохнул Китинг. И прибавил: — Я не верю.

— А я верю, — сказала Доминик. — Иначе Эллсворт не начал бы этот разговор. — Она улыбнулась Тухи: — Итак, Винанд обещал тебе встретиться со мной?

— Да, дорогая.

— Как это тебе удалось?

— О, я представил ему убедительный довод. Но в любом случае было бы неразумно откладывать разговор. Тебе, вероятно, надо позвонить ему завтра.

— А почему бы не позвонить сейчас же? — сказал Китинг. — А, понимаю, сейчас уже слишком поздно. Ты позвонишь ему утром.

Она взглянула на него из-под полуопущенных век и ничего не сказала.

— Ты уже давно не проявляешь активного интереса к карьере Питера, — обратился к ней Тухи. — А как тебе такого рода подвиг — ради Питера?

— Если Питер захочет...

— Если я захочу? — закричал Китинг. — Вы что, оба с ума сошли? Такое случается раз в жизни, та... — Он заметил, что они удивленно смотрят на него, и взорвался: — А, ерунда!

— Что ерунда, Питер? — спросила Доминик.

— Неужели тебя остановят глупые сплетни? Господи, да жена любого архитектора поползла бы на карачках за такой возможностью...

— Однако жене *любого* архитектора такая возможность не представилась бы, — сказал Тухи. — У *любого* архитектора нет такой жены, как Доминик. Ты всегда так гордился этим, Питер.

— Доминик может позаботиться о себе в любых обстоятельствах.

— Без сомнения.

— Хорошо, Элсворт, — проговорила Доминик. — Завтра я позвоню Винанду.

— Элсворт, ты просто великолепен, — сказал Питер, стараясь не смотреть на нее.

— А теперь я бы выпил, — вздохнул Тухи. — Надо отпраздновать.

Когда Китинг поспешно вышел на кухню, Тухи и Доминик переглянулись. Он улыбнулся. Потом взглянул на дверь, через которую вышел Китинг, и насмешливо кивнул Доминик.

— Ты этого ожидал, — сказала Доминик.

— Конечно.

— А теперь скажи, чего ты в действительности добиваешься, Элсворт?

— Боже, я просто хочу помочь тебе добыть Стоунридж для Питера. Это действительно потрясающий проект.

— Зачем ты так стараешься, чтобы я переспала с Винандом?

— А ты не считаешь, что это было бы интересным опытом?

— Ты не удовлетворен тем, как обернулась моя жизнь с Питером. Да, Элсворт?

— Не совсем. Процентом на пятьдесят. Что ж, в этом мире нет ничего совершенного. Человек хватается за что может, а затем устремляется за следующим.

— Тебе очень хотелось, чтобы Питер женился на мне. Ты знал, во что это выльется, лучше, чем Питер или я.

— Питер вообще ничего не знал.

— Что ж, это сработало — на пятьдесят процентов. Ты сделал из Питера Китинга то, что хотел, — он ведущий архитектор страны, готовый лизать тебе пятки.

— Мне никогда не нравилась твоя манера выражаться, но она точна. Я бы сказал иначе: нечто виляющее хвостом. Но ты выразилась мягче.

— А другие пятьдесят процентов, Элсворт? Провал?

— Похоже, полнейший. Моя вина. Вероятно, не следовало ожидать, что кто-то вроде Питера Китинга, даже в роли мужа, сможет сломить тебя.

— Что ж, ты откровенен.

— Я уже говорил тебе однажды, что это единственный способ общаться с тобой. Кроме того, тебе не надо было этих двух лет, чтобы понять, чего мне хотелось от вашего брака.

— И ты полагаешь, Гсйл Винанд справится с этой задачей?

— Мог бы. А ты как думаешь?

— Я думаю, что снова играю роль отвлекающего маневра. Помнишь, ты как-то назвал это сладкой подливкой? А что ты имеешь против Винанда?

Он рассмеялся, этот смех выдавал — он не ожидал вопроса. Она презрительно добавила:

— Не пытайся показать, что ты шокирован, Элсворт.

— Ладно. Давай поговорим откровенно. Я ничего не имею против мистера Гейла Винанда. Я подумывал о его встрече с тобой уже давно. Если тебе нужны подробности — вчера утром он меня обидел. Он слишком наблюдателен. И я решил, что время пришло.

— А тут еще и Стоунридж....

— А тут еще и Стоунридж. Я понимал, что это тебя интересует. Ты никогда не продала бы себя, чтобы спасти свою страну, свою душу или жизнь человека, которого любила. Но ты будешь торговать собой, чтобы получить для Питера Китинга подряд, которого он не заслуживает. Посмотришь, что потом от тебя останется. Или от Гейла Винанда. Мне тоже будет интересно посмотреть.

— Совершенно верно, Элсворт.

— Все, что я сказал? Даже о человеке, которого ты любила... если любила?

— Да.

— Ты стала бы торговать собой ради Рорка? Хотя, конечно, тебе не нравится слышать, как произносят это имя.

— Говард Рорк, — ровным голосом произнесла она.

— Мужества тебе не занимать, Доминик.

Вошел Китинг и принес коктейли. Глаза его лихорадочно блестели, и он слишком размахивал руками.

Тухи поднял бокал:

— За Гейла Винанда и его «Знамя».

Гейл Винанд поднялся из-за своего стола, чтобы поздороваться с ней.

— Здравствуйте, миссис Китинг.

— Здравствуйте, мистер Винанд.

Он подвинул стул, но, когда она села, не вернулся на свое место, а остался стоять, изучая ее с видом знатока, словно основания для этого были ей известны и в подобном поведении не было ничего вызывающего.

— В жизни вы выглядите стилизованной версией своей собственной стилизованной версии, — начал он. — Как правило, когда я смотрю на прототип произведения искусства, я испытываю приступ атеизма. Но на сей раз я не могу сказать, что скульптор превзошел Создателя.

— Какой скульптор?

— Тот, который создал вашу статую.

Он чувствовал, что за статуей кроется какая-то история, и убедился в этом, заметив, как в ее лице на долю секунды появилась напряженность, противоречившая ее безразличному, но спокойному самообладанию.

— Где и когда вы видели эту статую, мистер Винанд?

— В моей художественной галерее, сегодня утром.

— Где вы ее приобрели?

Наступила его очередь выразить удивление:

— Разве вы не знаете?

— Нет.

— Ее прислал мне ваш приятель Элсворт Тухи. В подарок.

— Чтобы устроить мне эту встречу?

— Мотивировка его была не столь откровенной, как, я полагаю, вы подумали. Но по существу да.

— Он мне этого не сказал.

— Вы не против того, что статуя у меня?

— Не особенно.

— Я ждал, вы скажете, что восхищены этим.

— Совсем нет.

Винанд без стеснения уселся на край стола, вытянув ноги и скрестив лодыжки. Он спросил:

— Я полагаю, вы потеряли след статуи и пытались найти ее.

— В течение двух лет.

— Вам не вернуть ее обратно. — И прибавил, следя за ее лицом: — Но вы можете получить Стоунридж.

— Пожалуй, я изменю свое мнение. Я счастлива, что Элсворт Тухи отдал ее вам.

В этот миг он испытал горьковатое торжество, смешанное с разочарованием. Выходит, он все же может читать ее мысли, и мысли эти, оказывается, лежат на поверхности. Он спросил:

— Потому что это позволило вам встретиться со мной?

— Нет. Потому что вы предпоследний человек на свете, которого я бы хотела видеть владельцем этой статуи. Но Тухи — последний.

Ощущение торжества ушло — это было совсем не то, что должна говорить и думать женщина, добивающаяся Стоунриджа. Он спросил:

— Вы не знали, что она у Тухи?

— Нет.



— Вероятно, следовало бы разобраться с нашим общим приятелем, мистером Эллсвортом Тухи. Мне не нравится быть пешкой, и вряд ли это нравится вам. Мистер Тухи многое предпочитает замалчивать. Имя этого скульптора, например.

— Он вам не сказал?

— Нет.

— Стивен Мэллори.

— Мэллори?.. Не тот ли, кто пытался... — Он громко рассмеялся.

— В чем дело?

— Тухи сказал, что не может вспомнить имени. *Этого* имени.

— Неужели мистер Тухи вас все еще удивляет?

— За последние дни даже не раз. Это особая разновидность хитрости — подавать себя столь вульгарно, как это делает он. Очень редкая и сложная разновидность. Его артистичность заставляет меня почти уважать его.

— Не разделяю ваших вкусов.

— Ни в какой области? Ни в скульптуре, ни в архитектуре?

— В отношении архитектуры — определенно.

— А вам не кажется, что именно этого вам не следовало бы говорить?

— Вероятно.

Он посмотрел на нее и сказал:

— А вы интересная.

— Это не входило в мои намерения.

— Это ваша третья ошибка.

— Третья?

— Первая связана с мистером Тухи. В данных обстоятельствах можно было ожидать, что вы начнете восхвалять его. Цитировать его, опираться на его огромный авторитет в вопросах архитектуры.

— Но можно было ожидать, что вы знаете, что такое Эллсворт Тухи. И к чему тогда были бы цитаты?

— Я рассчитывал сказать это вам, если бы вы дали мне такую возможность.

— Это было бы забавно.

— Вы ожидали, что вас будут здесь забавлять?

— Да.

— Рассказом о статуе? — Это была единственная уязвимая точка, которую он обнаружил.

— Нет. — Голос ее стал резким. — Не о статуе.

— Скажите, когда она была создана и для кого?

— Это еще одно, о чем забыл мистер Тухи?

— По всей видимости.

— Вы помните скандал со зданием, которое называли храмом Стоддарда? Два года назад. Вас здесь в это время не было.

— Храм Стоддарда?.. Кстати, откуда вы знаете, где я был два года назад?.. Минутку. Храм Стоддарда. Вспоминаю: святотатство вместо церкви или нечто подобное, что дало повод библейской команде устроить детский крик на лужайке.

— Да.

— Там была... — Винанд осекся. И заговорил тем же тоном, что и она, — резко, с усилием: — Там был скандал вокруг статуи обнаженной женщины.

— Именно.

— Понимаю.

Он немного помолчал, затем резко, как будто сдерживая приступ гнева, источник которого она не могла угадать, начал:

— В это время я был где-то рядом с Бали<sup>[5]</sup>. Мне неприятно, что весь Нью-Йорк видел статую до меня. Но на яхте я не читаю газет. Я отдал приказ вышвырнуть за борт любого, кто принесет на яхту газету Винанда.

— Так вы не видели даже фотографий храма Стоддарда?

— Нет. Здание было достойно статуи?

— Статуя была почти достойна здания.

— Оно ведь было разрушено, правда?

— Да. С помощью газет Винанда.

Он пожал плечами:

— Помню, для Альвы Скаррета это были славные деньки. Большая сенсация. К сожалению, я все пропустил. Но Альва хорошо поработал. Да, кстати, откуда вы узнали, что я отсутствовал, и почему сам факт моего отсутствия остался в вашей памяти?

— Эта сенсация стоила мне работы у вас.

— *Работы? У меня?*

— Разве вы не знаете, что раньше мое имя было Доминик Франкон?

Его плечи под пиджаком модного покроя подались вперед — знак растерянности и беспомощности. Он просто смотрел на нее несколько секунд, затем сказал:

— Нет.

Безразлично улыбнувшись, она сказала:

— Кажется, Тухи хотелось все как можно больше усложнить для нас обоих.

— К черту Тухи. Мне надо с этим разобраться. Ничего не понимаю. Так вы — Доминик Франкон?

— Была.

— И вы работали здесь, в этом здании?

— Шесть лет.

— А почему я раньше вас никогда не встречал?

— Уверена, что вы не встречаетесь с каждой вашей служащей.

— Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду.

— Хотите, чтобы я выразила это за вас?

— Да.

— Почему я не пыталась встретиться с вами раньше?

— Да.

— У меня не было желания.

— А вот этого я как раз и не понимаю.

— Мне следует пропустить это мимо ушей — или понять?

— С вашей красотой и знанием моей репутации, отчего же вы не пытались устроить свою карьеру в «Знамени»?

— Мне никогда не хотелось настоящей карьеры в «Знамени».

— Почему?

— Возможно, по той же причине, которая заставила вас запретить газеты Винанда на своей яхте.

— Это неплохая причина, — спокойно согласился он. Потом спросил беззаботным тоном:

— Интересно, что же вы сделали, что я вас уволил? Пошли против нашей политики, скорей всего?

— Я пыталась защитить храм Стоддарда.

— Вы что, не могли придумать ничего лучше, чем проявить искренность в «Знамени»?

— Я рассчитывала сказать это вам, если бы вы дали мне такую возможность.

— Забавлялись?

— Тогда — нисколько. Мне нравилось здесь работать.

— Кажется, в этом здании вы одна такая.

— Одна из двоих.

— А кто второй?

— Вы, мистер Винанд.

— Не будьте так уверены. — Подняв голову, он увидел в ее глазах легкую насмешку и сказал: — Вы хотели поймать меня на подобном заявлении?

— Пожалуй, — спокойно ответила она.

— Доминик Франкон... — произнес он. — Мне нравились ваши статьи. Я почти жалею, что вы пришли не просить вернуть вас на прежнюю работу.

— Я пришла договориться о Стоунридже.

— Ах да, конечно. — Он откинулся в кресле, приготовившись наслаждаться длинной речью, призванной его убедить. Он подумал, что интересно услышать доводы, к которым она прибегнет, и увидет, какова она в роли просительницы. — Так что же вы хотели мне сказать по этому поводу?

— Я бы хотела, чтобы вы отдали этот заказ моему мужу. Я понимаю, конечно, что у вас нет причин это делать, — если взамен я не соглашусь переспать с вами. Если это является для вас достаточно веской причиной, я согласна.

Он молча смотрел на нее, не позволяя себе никак проявить свою реакцию. Она смотрела слегка удивленно: что же он медлит, будто ее слова не заслуживают внимания. Ему не удалось, хотя он напряженно искал, увидеть на ее лице ничего, кроме неуместно невозмутимой невинности.

Он сказал:

— Именно это я и намеревался предложить. Но не так грубо и не при первой встрече.

— Я сэкономила ваше время и помогла обойтись без лжи.

— Вы очень любите своего мужа?

— Я презираю его.

— У вас огромная вера в его художественный гений?

— Я полагаю, он третьеразрядный архитектор.

— Так почему же вы это делаете?

— Это меня забавляет.

— Я думал, что я единственный человек, руководствующийся этим принципом.

— Не обращайтесь внимания. Я не верю, чтобы вы когда-нибудь считали оригинальность желанной добродетелью, мистер Винанд.

— Так вам безразлично, получит ваш муж Стоунридж или нет?

— Абсолютно.

— И у вас нет никакого желания спать со мной?

— Никакого.

— Я мог бы восхищаться женщиной, которая способна разыграть такую сцену. Но ведь вы не играете.

— Не играю. И, пожалуйста, не восхищайтесь мной. Я хотела бы избежать этого.

Когда он улыбался, явных движений лицевых мускулов не требовалось; что-то похожее на усмешку всегда было на его лице, просто на мгновение она проступала резче, а затем вновь пряталась. Сейчас усмешка стала видна отчетливее.

— Фактически, — начал он, — что ни говори, ваша основная цель — я. Желание отдаться мне. — Он заметил взгляд, который она не сумела скрыть, и добавил: — Нет, не радуйтесь, что я допустил столь грубую ошибку. Я говорю это не в обычном смысле. Совсем наоборот. Разве вы не сказали, что считаете меня предпоследним человеком в мире? Вам не нужен Стоунридж. Вы хотите продаться из самых низменных побуждений самому низкому из людей, которого вам удалось найти.

— Я не ожидала, что вы поймете, — просто сказала она.

— Вы хотите — так делают иногда мужчины, но не женщины — выразить через половой акт полнейшее презрение ко мне.

— Нет, мистер Винанд. К себе.

Тонкая линия его рта слегка дрогнула, как первый намек на откровенность — произвольный, а потому говорящий о слабости, — и он очень следил за своими губами, говоря:

— Большинство людей из кожи вон лезут, стараясь убедить себя, что они себя уважают.

— Согласна.

— И конечно, это стремление к самоуважению является доказательством его отсутствия.

— Согласна.

— Следовательно, вы понимаете, что означает стремление презирать самого себя.

— То, что ничего у меня из этого не выйдет.

— Никогда.

— Не ожидала, что вы и это поймете.

— Я не хочу больше ничего говорить — вы можете перестать считать меня предпоследним человеком на свете, и я перестану подходить для вашей цели. — Он поднялся. — Должен ли я выразить официально, что принимаю ваше предложение?

Она склонила голову в знак согласия.

— Если быть откровенным, — сказал он, — мне все равно, кого выбрать для строительства Стоунриджа. Я никогда не нанимал хороших архитекторов для того, что строил. Я давал народу то, что он хочет. На этот раз мне захотелось подобрать что-то получше, потому что я устал от неумех, которые на меня работают, но выбирать без определенных критериев весьма трудно. Думаю, вы не будете возражать. Я действительно вам благодарен — вы даете мне намного больше, чем я смел надеяться.

— Я рада, что вы не сказали, что всегда восхищались гением Питера Китинга.

— А вы не сказали, как счастливы пополнить собой список выдающихся любовниц Гейла Винанда.

— Можете радоваться, если хотите, но я полагаю, что мы поладим.

— Вполне возможно. По крайней мере, выдали мне новую возможность: делать то, что я делал всегда, но честно. Могу ли я начать отдавать вам приказы? Я не хочу притворяться, будто это нечто иное.

— Если хотите.

— Вы отправитесь со мной в двухмесячное путешествие на яхте. Отплываем через десять дней. Когда мы вернемся, вы будете вольны возвратиться к мужу — с контрактом на Стоунридж.

— Слушаюсь.

— Я хотел бы встретиться с вашим мужем. Не пообедаете ли вы оба со мной в понедельник?

— Да, если хотите.

Когда она поднялась, чтобы уйти, он спросил:

— Могу ли я сообщить вам разницу между вами и вашей статуей?

— Нет.

— Но я хочу. Есть что-то пугающее в одних и тех же элементах, использованных в двух композициях на противоположные темы. Все в этой статуе — тема восторга. Но ваша собственная тема — страдание.

— Страдание? Я не отдавала себе отчета в том, что выказала страдание.

— Вы — нет. Именно это я и имел в виду. Ни один счастливый человек не бывает настолько нечувствителен к боли.

Винанд позвонил своему галерейщику и попросил его устроить закрытую выставку работ Стивена Мэллори. Встретаться с Мэллори лично он отказался, так как никогда не встречался с людьми, творчество которых ему нравилось. Торговец весьма спешно выполнил заказ. Винанд купил пять вещей из того, что ему показали, и заплатил больше того, на что мог рассчитывать торговец.

— Мистеру Мэллори будет любопытно узнать, — сказал тот, — что привлекло ваше внимание.

— Я видел одну из его работ.

— Какую?

— Не имеет значения.

Тухи рассчитывал, что Винанд позвонит ему после встречи с Доминик. Винанд не позвонил. Несколько дней спустя, случайно увидев Тухи в отделе местных новостей, Винанд громко спросил его:

— Мистер Тухи, так ли много людей пытались вас убить, что вы не помните их имен?

Тухи улыбнулся и ответил:

— Я уверен, что это хотели бы сделать многие.

— Вы льстите окружающим, — сказал Винанд и вышел.

Питер Китинг разглядывал шикарный зал ресторана. Это было место для самой избранной публики и самое дорогое в городе. Китинга раширало от радости, когда-он возвращался к мысли о том, что он гость Гейла Винанда.

Он пытался не смотреть на изысканно элегантно Винанда, сидевшего напротив него за столом. Он благословлял Винанда за то, что тот выбрал для встречи общественное место. Народ глазел на Винанда — осторожно, но глазел, — и внимание распространялось на гостей за его столом. Доминик сидела между двумя мужчинами. На ней было белое шелковое платье с длинными рукавами и воротником-капюшоном; монашеское одеяние создавало потрясающий эффект вечернего платья только потому, что так явно не соответствовало этому назначению. На ней не было драгоценностей. Ее золотистые волосы были уложены шапочкой. Тяжелый белый шелк при движении с холодной невинностью подчеркивал очертания тела, — тела, публично приносимого в жертву и не нуждавшегося в том, чтобы его скрывали или желали. Китинг находил платье непривлекательным. Он заметил, что Винанд, кажется, им восхищался.

Какой-то массивный человек из-за стола в отдалении напряженно смотрел в их сторону. Затем эта тяжелая фигура поднялась на ноги, и Китинг узнал Ралстона Холкомба, который поспешил к ним.

— Питер, мой мальчик, так рад тебя видеть, — жужжал он, тряся его руку, кланяясь Доминик и намеренно не замечая Винанда. — Где ты скрывался? Почему тебя совсем не видно? — Три дня назад они вместе завтракали.

Винанд поднялся и стоял, вежливо склонившись вперед. Китинг колебался, затем с явным нежеланием произнес:

— Мистер Винанд — мистер Холкомб.

— Неужели *тот самый* мистер Гейл Винанд? — воскликнул Холкомб с великолепно

разыгранной невинностью.

— Мистер Холкомб, если вы встретите одного из братьев Смит с этикетки капель против кашля, вы его узнаете? — спросил Винанд.

— Господи... полагаю, что да, — заморгал глазами Холкомб.

— Мое лицо, мистер Холкомб, для народа так же банально.

Холкомб пробормотал несколько благожелательных общих фраз и испарился.

Винанд тепло улыбнулся:

— Не стоило бояться представлять мне мистера Холкомба, мистер Китинг, даже если он архитектор.

— Бояться, мистер Винанд?

— Не нужно, потому что все уже договорено. Разве миссис Китинг не сказала вам, что Стоунридж ваш?

— Я... нет, она не сказала... Я не знал... — Винанд улыбался, улыбка оставалась на месте, как приклеенная, и Китинг чувствовал, что его вынуждают продолжать. — Я не очень надеялся... Не так скоро... конечно, я полагал, что этот обед может быть знаком... поможет вам решить... — И непроизвольно у него вырвалось: — Вы всегда разбрасываетесь такими сюрпризами, вот так, раз и все?

— При первой же возможности, — серьезно согласился Винанд.

— Я приложу все силы, чтобы заслужить эту честь и оправдать ваше доверие, мистер Винанд.

— Нисколько не сомневаюсь, — сказал Винанд.

Этим вечером он почти не обращался к Доминик. Казалось, все его внимание сосредоточилось на Китинге.

— Общество благожелательно отнеслось к моим прежним попыткам, — говорил Китинг, — но я сделаю Стоунридж своим лучшим творением.

— Это весьма серьезное обещание, учитывая замечательный список ваших работ.

— Я не надеялся, что мои работы достаточно интересны, чтобы привлечь ваше внимание, мистер Винанд.

— Но я их хорошо помню. Здание «Космо-Злотник» — это чистый Микеланджело. — Лицо Китинга расплылось в улыбке от невероятной радости, он знал, что Винанд разбирается в искусстве и не позволил бы себе такое сравнение без веской на то причины. — Здание банка «Пруденшал» — подлинный Палладио<sup>[6]</sup>. А универмаг Слоттерна позаимствован у Кристофера Рена... — Лицо Китинга сменило выражение. — Подумайте, какую компанию знаменитостей я получил, заплатив только одному. Разве это плохая сделка?

Китинг улыбнулся одеревеневшим лицом и произнес:

— Мне доводилось слышать о вашем бесподобном чувстве юмора, мистер Винанд.

— А не доводилось ли вам слышать о моем описательном стиле?

— Что вы имеете в виду?

Винанд полуобернулся на своем стуле и посмотрел на Доминик, будто разглядывал неодушевленный предмет.

— У вашей жены прекрасное тело, мистер Китинг. Ее плечи чересчур узки, но это великолепно сочетается со всем остальным. Ее ноги чересчур длинные, но это придает ей элегантность линий, которую можно увидеть в хорошей яхте. Ее груди великолепны, вы не находите?

— Архитектура — занятие грубое, мистер Винанд, — попытался рассмеяться Китинг. — Она не позволяет человеку заниматься высшими видами философствования.

— Вы меня не поняли, мистер Китинг?

— Если бы я не знал, что вы джентльмен, я мог бы вас неправильно понять, но вам меня не обмануть.

— Я как раз и не хочу вас обманывать.

— Я ценю комплименты, мистер Винанд, но мне трудно вообразить, что мы должны говорить о моей жене.

— Отчего же, мистер Китинг? Считается хорошим тоном говорить о том, что у нас есть — или будет — общего.

— Мистер Винанд, я... я не понимаю.

— Должен ли я объяснять?

— Нет, я...

— Нет? Тогда мы оставляем тему Стоунриджа?

— О, давайте поговорим о Стоунридже! Я...

— Но мы об этом и говорим, мистер Китинг.

Китинг обвел глазами зал. Он подумал, что такие вещи не делаются в подобных местах; праздничное великолепие зала превращало все в чудовищную нелепость; он предпочел бы очутиться в мрачном подвале. Он подумал: «Кровь на камнях мостовой — да, но не кровь на ковре в гостиной...»

— Теперь я понимаю, что это шутка, мистер Винанд, — сказал он.

— Моя очередь восхищаться вашим чувством юмора, мистер Китинг.

— Такие вещи... не делаются...

— Ну, вы совсем не это имеете в виду, мистер Китинг. Вы считаете, что они делаются постоянно, но о них просто не говорят вслух.

— Я не думал...

— Вы думали об этом до того, как прийти сюда. Но не возражали. Согласен, я веду себя отвратительно. Я нарушаю все законы милосердия. Быть честным — чрезвычайно жестокое дело.

— Пожалуйста, мистер Винанд, давайте... оставим это. Я не знаю, как себя вести.

— Ну это просто. Вам следует дать мне пощечину. — Китинг хихикнул. — Вам надо было сделать это несколько минут назад.

Китинг заметил, что его ладони стали влажными, он пытался перенести вес своего тела на руки, которые вцепились в салфетку на коленях. Винанд и Доминик продолжали медленно и красиво есть, как будто они сидели за другим столом. Китинг подумал, что перед ним два совсем не человеческих тела; свечение хрустальных подвесок в зале казалось радиоактивным излучением, и лучи проникали сквозь тела; за столом остались только души, облаченные в вечерние костюмы. Человеческой же плоти не было. Они были ужасны в своем новом облике, ужасны, потому что он ожидал увидеть в них своих мучителей, а обнаружил полнейшую невинность. Он с удивлением подумал — что же они видят в нем, что скрывает его одежда, если не стало его телесной формы?

— Нет? — спрашивал Винанд. — Вам не хочется делать этого, мистер Китинг? Но конечно, вы и не обязаны. Просто скажите, что вы ничего не хотите. Я не возражаю. Тут, под столом напротив, сидит Ралстон Холкомб. Он может с таким же успехом, как и вы, построить Стоунридж.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду, мистер Винанд, — прошептал Китинг. Глаза его были устремлены на томатное желе на тарелке с салатом; оно было мягким и слегка подрагивало; его мутило от вида желе.

Винанд повернулся к Доминик:

— Помните наш разговор о некоем стремлении, миссис Китинг? Я сказал, что для вас оно

безнадежно. Посмотрите на своего мужа. Он в этом специалист — без всяких усилий со своей стороны. Вот так оно и делается. Попробуйте как-нибудь с ним потягаться. Не утруждайтесь заявлением, что вы не можете. Я это знаю. Вы дилетант, дорогая.

Китинг подумал, что должен что-то сказать, но не мог, во всяком случае, пока салат оставался перед ним. Ужас исходил от этой тарелки, а вовсе не от высокомерного чудовища напротив; все остальное вокруг было теплым и надежным. Его качнуло, и локоть смел блюдо со стола.

Он пробормотал что-то вроде сожаления. Откуда-то возникла неясная фигура, прозвучали вежливые слова извинения, и с ковра мигом все исчезло.

Китинг услышал, как кто-то сказал: «Зачем вы это делаете?», увидел, как два лица повернулись к нему, и понял, что говорил он сам.

— Мистер Винанд делает это не для того, чтобы мучить тебя, Питер, — спокойно ответила Доминик. — Все это ради меня. Посмотреть, сколько я могу вынести.

— Это верно, миссис Китинг, — сказал Винанд. — Но только частично. Основная цель — оправдать себя.

— В чьих глазах?

— В ваших. И возможно, в своих собственных.

— Вам это нужно?

— Иногда. «Знамя» — газета презренная, не так ли? Так вот, я заплатил своей честью за право развлечься, наблюдая, как у других насчет чести.

Теперь и у него самого под одеждой, подумал Китинг, ничего больше нет, потому что эти двое за столом перестали замечать его. Он был в безопасности, его место за столом опустело. Он поражался, глядя на них сквозь огромно безразличное расстояние: почему же они спокойно смотрят друг на друга — не как враги, не как два палача, но как товарищи?

Поздно вечером за два дня до отплытия яхты Винанд позвонил Доминик.

— Не могли бы вы прийти ко мне прямо сейчас? — спросил он и, услышав в ответ растерянное молчание, прибавил: — О, это не то, что вы думаете. Я всегда придерживаюсь условий договора. Вы будете в полной безопасности. Просто мне надо сегодня с вами встретиться.

— Хорошо, — согласилась она и удивилась, услышав в ответ спокойное «благодарю вас».

Когда дверь лифта открылась в холле его квартиры на крыше, он уже ждал ее. Однако он не позволил ей выйти, а вошел в лифт сам:

— Я не хочу, чтобы вы входили в мой дом. Мы спустимся этажом ниже.

Мальчик-лифтер удивленно посмотрел на него. Кабина лифта остановилась и открылась перед запертой дверью. Винанд открыл дверь и помог ей выйти, последовав за ней в свою картинную галерею. Она вспомнила, что туда никогда не допускались посторонние. Она ничего не сказала. Он ничего не объяснял.

Она бродила в молчании вдоль стен, любуясь сокровищами невероятной красоты. На полу лежали толстые ковры, не было ни звука — ни шагов, ни города за стенами. Он следовал за ней и останавливался, когда останавливалась она. Его глаза вместе с ее глазами скользили от одного экспоната к другому. Иногда его взгляд перемещался на ее лицо. Мимо статуи из храма Стоддарда она прошла не останавливаясь.

Он не торопился, как будто отдавал ей все. Она сама решила, когда ей уйти, и он проводил ее до двери. Она спросила:

— Зачем вам было надо, чтобы я все видела? Это не заставит меня думать о вас лучше. Хуже — возможно.

— Этого мне и следовало бы ожидать. Только я об этом не думал. Мне просто захотелось,



чтобы вы все увидели, — спокойно ответил он.

Когда они вышли из машины, солнце уже садилось. В открывшемся просторе неба и моря — зеленое небо над полосой разлитой ртути — еще угадывались следы ушедшего светила, на краях облаков и на медной обшивке яхты. Яхта казалась белой молнией, хрупко-чувствительным созданием, которое рискнуло немного задержаться в безграничном покое.

[Скачать полный вариант книги](#)